

**БОРИС
АКУНИН**



ЗВЕЗДУХА

**ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА**



**БОРИС
АКУНИН**

ЗВЕЗДУХА



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
А44

*Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.*

*Серия «История Российского государства»
издается с 2013 года*

Оформление переплета — *Екатерина Фerez*

Иллюстрации *Игоря Сакурова, Михаила Душина*

Акунин, Борис.

А44 Звездуха: [повесть] / Борис Акунин. — Москва :
Издательство АСТ, 2019. — 256 с.: ил. — (История Рос-
сийского государства).

ISBN 978-5-17-104288-2

Повесть Б. Акунина «Звездуха» является художественным со-
провождением второго тома «Истории Российского государства»,
посвященного ордынской эпохе и относится ко времени монголь-
ского завоевания.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© В. Акунин, автор, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Часть первая
ВОЙНА





**О ГИБЕЛИ
БОГАТЫРЕЙ РУССКИХ**



Широкая, покрытая снегом равнина вся сверкала на солнце, так что больно смотреть. Мальчик в драном тулупчике, с куском овчины на голове, заменявшим шапку, шел и жмурился, а иногда тер глаза — путь лежал навстречу солнцу, на восход. Внизу всё было белое, сверху голубое, сшитое между собой золотыми нитями. Но красота зимнего мира мальчика не радовала. Он сопел, злился на плетущегося сзади старика. Во-первых, тому было легче идти по уже протоптанному. Во-вторых, слепому не приходилось щуриться от нестерпимо яркого сияния. А в-третьих, дед нынче был не в духе, всё норовил ткнуть в спину посохом.

— Ты по дороге идешь иль напрямки прешься? Не сбился, дурья башка? Идем, идем, а

встречных никого нет, — бурчал слепец. — Ноги-то не подымай, приволакивай. Разгребай снег, разгребай!

Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. На прямой, как копье, дороге, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий — только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал. Снежный покров был нетронут.

— Куды тащимся, — ворчал поводырь, ускоряя шаг — подальше от клюки. — Может, наврали тебе в Свиристеле, надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем — замерзнем в поле.

Морозец был легкий, покусывал немного, будто игривый кутенок, но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался.

Палка впустую рассекла воздух — не достала.

— Дурень! Дорога есть — значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово, там овчары живут. Большое село, богатое, с церковью да с колоколенкой. — Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. — Вот за Овчаровым уж точно

ничего нет, одна только степь, до самого края земли. А про Овчарово-село мне на княжьем подворье всё обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное. Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них — луга с душистыми травами. Знай овец с пастбища на пастбище гоняют да шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот большущий охотник до былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там, в Овчарове, и перезимуем.

— Лучше бы в Свиристеле перезимовали. Ладный город.

— Ладный-то ладный, да вишь князь с княгиней какие, — вздохнул слепец, поправляя за спиной мешок с гусями. — Щедры, ласковы, а привередливы. Какую сказку ни начни — говорят, знаем, другую давай, какой не слыхивали.

— Так насочинял бы новых. Не пришлось бы тащиться по холоду невесть куда.

— «Насочинял бы». Будто это орехи щелкать.

— Нащелкаешь ты орехов, без зубов-то, — одними губами прошептал парнишка.

Но слух у калеки был острый — услышал.

— Поговори, куренок!

Посох опять впустую рассек воздух.

Препирательство было привычное, не для ругани, а чтоб не заскучать от долгой ходьбы.

Пожевав морщинистыми губами, потеряв рукавом заиндевевшую седую бороду, старик пробормотал:

— ...И то, чем снег без толку месить. Сочиню-ка. А ты запоминай, слышь?

Память у калики в последнее время начинала слабеть. Старые былины и песни хорошо помнил, а новые, случалось, забывал. Это обидно, особенно если хорошо сочинилось. Но у мальчишки, даром что дурак, память была цепкая. За то его сказитель и кормил. Поводырствовать всякий может, а чтоб длинный сказ в точности повторить и ничего не перевернуть — это от Бога. В добрую минуту, хорошо поев и обогревшись, слепец говаривал: «Повезло тебе, Савша. Вот помру я, а тебе с зеленых лет верный кусок хлеба останется. Сам ты сказок не сложишь, но тебе и моих до скончания жизни хватит. Глаза только себе выколи — люди больше давать будут. На кой они, глаза? Суета от них одна и завидство».

— Про битву на Калке-реке любят, — заговорил сам с собой былинник. — Но про нее все нынешние поют. Князь вон и слушать не стал. Надо бы Калку эту как-нибудь поновить... Перевернуть, чтоб заиграла...

Мальчишка шел, помалкивал. Знал: сейчас мешать нельзя.

— Хороший сказ, какой люди любят, он что? — продолжал рассуждать слепой. — Чтоб был с богатырями и красавицами, это бесприменно. Чтоб со слезой — бабам поплакать. И с надеждой в конце, а то и поколотить могут.

Помычал, поболботал неразборчивое, попробовал напеть сначала басисто, потом тонко, жалобно. Откашлялся.

— Ну, слушай, Савка. И гляди у меня, если перевернешь... Запушу я про Калку вот как, никто еще так не сказывал. Все говорят: на Калке проклятой русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Попович Алеша голову сложили. Но как сложили, никто не знает.

— А ты знаешь? — с любопытством обернулся поводырь.

— «Быль о гибели богатырей русских», — торжественно объявил былинник, не слушая. Сбился, опять забормотал: — Сначала про Божью кару спою. Как Господь за грехи наши прогневался, степное лихо наслал. Это можно из «Былины о Святославе Гориславиче» взять, только «поганых половцев» на «поганых татаровей» поменять, а Тугарина на Субудай-хана, и ладно будет. А потом сразу про то, как богатыри с женами прощались.

И затянул, принаравливая медленный напев к таким же небыстрым шагам:

— «У Ильи жена — дочь кузнецкая, а по имени Марья Ниловна. Говорит ему, сама плачется, слезы горькие утираючи: «Ты возьми, Илья, крестик кованый да повесь его под рубахою. То железный крест — он с молитвою, с наговорами мною выкован. Коль навалится сила лютая, сила грозная, несразимая, ты сорви с груди крест намоленный да коснися им до сырой земли. Земля-матушка тут расступится, заберет тебя, упадет тебя. Обратишься ты малой семечкой и спасешься тем от гибели»».

— Илья Муромец — малой семечкой? — недоверчиво спросил мальчик.

— Никшни! Повтори лучше, верно ли запомнил.

Поводырь повторил слово в слово.

— То-то. Дальше слушай. «У честного Добрыни Никитича — Евпраксия жена, лебедь белая, пава райская, дочь боярская. Повязала снурок, нить шелковую, на снурке на том мала ладанка. «Гой ты, сокол мой, мил Добрынюшка, знать, не скоро нам с тобой свидеться. На гибель ты отправляешься, биться с ворогом нечисляемым, с ратью страшною, сатанинскою. Но когда от ран изнеможешься, когда верный меч переломится, разорви снурок из последних

сил да подбрось заветную ладанку. Ты взлетишь за ней ясным соколом, в облака взлетишь, в небо чистое. Не пронзят тебя копья острые, не догонят стрелы каленые». Ну-ка!

Парнишка старательно пропел весь кусок, стараясь, как и сказитель, говорить за «лебедь белую, паву райскую» тоненьким голосом.

— Теперь про Алешу Поповича. «А Алешу, сына поповского, провожала девка пригожая — черноглазая, ведьмоватая, с половецким полом добытая. И взяла она кольцо медное, трижды молвила слово тайное и надела тот перстень любому через лево плечо да на малый перст. «Если гибель придет неминучая, помяни меня, девку грешную, да стряхни кольцо в зелену траву — только тем от смерти избавишься. Обратишься ты змейкой медною, уползешь подзёмь, в норы темные, а враги твои ненасытные так голодными и останутся...» — Старик оборвал пение, деловито сказал: — Ну, про битву-бой я из старого намешаю. — И скороговоркой: — «Как махнет Илья саблей вострою, так прорубит по вдоль переулочек, вдругорядь махнет, раззадорившись, средь татар откроется улица» и всяко такое. Это ладно... А в конце опять запущу новое: «Налетают злые татарове, рубят саблями, колют копьями. И повытекла у Илюшеньки из глубоких ран чиста кровушка, нету мочи щит от земли

поднять. Из последних сил Илья Муромец кинул оземь крест свой намоленный, и за тем крестом сгинул со свету, в один миг исчез, будто не было». Так ладно будет, с Ильей. А Добрыню с Алешей пускай татарове в полон возьмут, как наших князей взяли. «Навалились татары бесчисленно на Добрыню с Алешей Поповичем, стали руки вязать, руки белые, стали петли тугие закидывать. Как на левой ручке Добрыниной сразу сто татар висом свесились, а за праву руку могутную аж полтысячи уцепились».

— Не много будет — полтысячи? — засомневался Савва.

— Не мешай! «С левой рученьки лютых врагов сотряхнул Добрыня, изладился, но десницу свою, сколь ни тужился, от татар поганых не вызволил. Делать нечего. Разорвал снурок, вскинул ладанку ажно до неба, и взлетел Никитич за ладанкой ясным соколом в небо синее».

Мальчик задрал голову. Небо было синее, и в нем летала птица. Только не сокол — ворон.

— А Попович что? Тоже одну руку высвободил?

— Нет, он же слабее Добрыни. «Повели Алешу плененного к Субудаю-хану поганому. Субудай сидит, не мед-пиво пьет, пьет из чаши кровь христианскую. Ликом черен он, гласом рóкотен, тушей будет с башню настенную. Не на троне

сидит, не на бархате — на князьях-боярах закованных, татарвою в плен заарканенных. «Подходи, — говорит он Поповичу, — я тебя, молодца, припожалую. Поклонись ты только Дяволу, отрискись от веры отеческой, а уж я тебя, добрый молодец, одарю щедрá златом-серебром, будешь первым моим воеводою. А не примешь веру поганую — задавлю с князьями-боярами».

Парнишка слушал, шевеля губами — запоминал.

— Ну, дале ему Попович из «Былины о князе Владимире Красном Солнышке» скажет, про Сатаны прислужников и поганство, — прикидывал вслух сказочник, — в самый раз подойдет. Помнишь?

— Помню, помню. Ты дальше сказывай. Что с Алешей было?

— «Ухватили татары Поповича, наземь кинули, к прочим пленникам. Сами все с Субудаем уселися, знай пируют, собой похваляются. Скинул тут Алексей кольцо медное, половецкой девкой даренное. Обратился змеей ядовитою да подполз к владыке поганому, укусил его под коленкою. Опрокинулся царь неправедный, очи выпучил, язык высунул и подох, скотина поганая, окошел — туда и дороженька».

— Так его! — закричал Савва. — Ай, хорошая былина!

— Погоди, не всё еще. Былина выйдет совсем складная, если под конец такое запустить, чтоб все призадумались. Ты свое допел, а они в затылке чешут, вздыхают.

Старик остановился, уперся посохом в снег, на время умолк.

— «Наказал Господь войско русское, за грехи и вины великие, и татаре, семя бесовское, стали Господу Богу ненадобны. Дунул Он из Града Небесного, и смело всю силу татарскую. Побежала она, укатилась на восход, откуда явилась. С той поры и духа татарского на земле нигде не осталось. Но и Русь, по Божьей немилости, без защиты ныне сиротствует. Где ты, где ты, рать богатырская? Где вы, русской земли охранители? Из земли растет Илья Муромец, к свету тянется-пробивается, один Бог решит, когда вырастет. И Никита, сокол лазоревый, в облаках летает да мечется. Не сыскать ему, острокрылому, до Руси дорогу обратную. Чешуей блестит, извивается, через степь ползет змейка медная. Далеко ей, чай, пресмыкаться, через степи, реки да паводки. Ты расти скорей, мил Илюшенька. Ты летай-лети, мил Добрынюшка. Ты ползи, ползи, мил Алё...»

Оборвав сказ на полуслове, слепой вдруг умолк и потянул носом воздух. Нюх у него был еще острее, чем слух.

От густого кустарника, что торчал прямо из придорожного сугроба, потянуло ветерком, и старик что-то учуял.

— Кислым несет, — сказал он. — Овца заплутала?

Мальчишка прикрыл глаза ладонью от солнца.

— Не видать.

— Что ты врешь? Вон там, близко! — Сухой палец показывал прямо на раakitник. — Что там?

— Кусты.

— Поди, поищи. Коли овца — наша будет. Иди, песий сын, пока палкой не огрел!

Паренек присмотрелся к кустам повнимательней, но все равно ничего не увидел. Вздыхнул, все-таки пошел. Старик был настырный. Втемяшется какая блажь — не отвяжется.

Короткая толстая стрела без оперения ударила мальчика точно в переносицу. Он и не вскрикнул. На землю упал уже неживым.

Прямо из сугроба, весь залепленный снегом, поднялся человек: плотный, сутулый, одетый в косматую шкуру, с коротким луком в руке. Узенькими глазами-щелками он смотрел на беспокойно топчущегося слепца. Чего-то ждал или, может, колебался.

— Упал? — сказал былинник, вращая бельмами. — Вставай, что лежать-то? Эй, Савка!

Убийца опустил лук, спрятал обратно в колчан приготовленную стрелу. Повернулся, пошел прочь.

— Куда ты? — переполошился калека. — Саввушка! Обиделся? Прости старика грешного! Не по злобе ругаюсь! Саввушка! Не бросай меня! Пропаду я один!

Чужой человек обернулся на жалобно причитающего старика. Остановился.

Слепой услышал, обрадовался.

— Так-то лучше, Саввушка. Ступай ко мне. Вишь, я сказку какую сложил — в селе заслушаются. Угостят, обогреют.

Косматый со вздохом снова достал стрелу. Коротко, со звериной грацией вскинул лук. Тетиву с малого расстояния натянул слабо, она даже не тренькнула.

— Иди-тко сюда. Я тебе коврижки медовой откусить дам, мне свиристельская княжна подари...





МАНУ.І ИЗ РОДА МАНУ.ІОВ



За тридцать с лишком зим сплошных войн и походов сердце у Манула так и не зачерствело, а как известно, человеку от доброты один убыток. Несчастный ульгэрч-сохор, слепой сказитель, опасности не представлял. Ничего не видит, ничего никому не расскажет. Но он так испуганно причитал, так метался на пустой дороге, что Манул поддался жалости. Что будет с одиноким стариком, когда по снежным полям пройдет железный Нижнеорхонский тумен? Кто приютит калеку? Кто объяснит, что творится на свете?

Мягкосердечие обошлось Манулу во вторую калгу кряду. Калга — беззвучная стрела с плоским костяным наконечником, который при попадании в цель расщепляется, второй раз не используешь. Стоит такая стрела дорого. Собираясь





в разведку, Манул, как положено, наполнил колчан одними калгами. Летят они бесшумно, разят наповал. Нет ничего лучше, когда нужно убить коосулю, не напугав остальное стадо. Или снять дозорного.

Эх, надо было саблей, запоздало посетовал Манул. Вытер бы клинок о снег — и всё.

Когда вдали на белой дороге показались две черные точки, Манул велел десятку спрятаться в

овражке, а сам зарылся в сугроб у обочины. Старик с мальчишкой шли медленно. Пока дотацились, намерзся.

Но это ничего. Пятнадцать или больше зим назад, когда воевали в Хорасане, отрядили Манула следить за войском султана Джелала. Зарылся Манул в горячий песок бархана и сидел там, пока мимо не проследовала вся длинная колонна всадников. Сварился, как куриное яйцо, когда китайцы запекают его в золе. Сделался такой же багрово-лиловый. Нет, холод лучше, чем жар. Добрее, привычнее. Потому монголы и любят воевать зимой. Зимой замерзают реки и болота. Зимой на белом далеко видно. Зимой раны меньше болят и не загнивают.

Вернувшись к овражку, нукерам он ничего не сказал, просто кивнул: по седлам. А Звездухе, подойдя, шепнул на ухо: «Потерпи, вечером дам тебе вареного овса».

Кобыла нежно толкнула его мордой, кивнула головой с белым пятнышком на лбу — по этой звездочке и получила своё имя. Звездуха любила вареный овес, теплый. Но могла питаться и сухой травой, даже палыми листьями, которые сама добывала из-под снега, разгребая

его копытами. Никогда не капризничала, не жаловалась.

Была она неказистая, на бегу не сказать чтоб быстрая. Но простому десятнику казистую лошадь держать и не по чину. Сотник позавидует — зачем это нужно? А что не быстрая — зато умная и проворная. Если надо кого догнать или, наоборот, уйти от погони, Звездуха выберет самый лучший путь, а это важнее скорости. И не споткнется.

Ближе Звездухи у Манула на свете никого не было. Даже не то чтоб ближе. Вообще никого больше не было. Только они двое.

Коня обычно как отбирают? Захлестывают арканом двухлетка и объезжают, приучают ходить под седлом, слушаться узды. А в два года лошадь уже взрослая, с характером, с самоуважением. Чтобы такую к покорности привести, ей надо дух сломать. Но конь со сломанным духом все равно что человек со сломанной душой. Все равно что *богол*, раб, даже хуже. Богол хоть о свободе мечтает.

Звездуху Манул присмотрел еще жеребенком. Долго ходил за выводком, наблюдал. Как-то раз молодняк стоял на крутом берегу реки. Хотят пить, а спуститься не умеют. И вдруг одна

чубарая, рыжая, со звездочкой на лбу отчаянно тряхнула гривой да и сиганула вниз. Упала на мелководе неловко, боком, но даже не всхрипнула. Встала и начала пить. Тогда-то Манул и решил: моя.

Ходил к ней в табун каждый день. Лакомил с руки вкусным, играл, разговаривал — чтобы полюбила его голос и научилась понимать слова. Спал с ней под одной попоной. И скоро кобылка уже сама, завидев Манула, бежала навстречу. Ходила за ним, как собачка. Обижалась, когда уходил.

Первый раз он сел на Звездуху, когда она окрепла, наполнилась силой. Молодка только развеселилась, восприняла это как очередную игру. Манул сжал ее бока коленями — повернула голову, сочла за ласку. Так, играючи, и выучилась языку скачки.

Скоро десять лет, как они вместе. Прокатились круглым кустиком-хамхулом по всей великой Степи, от края до края. Где только не бывали. Сравнялись в возрасте, потому что у лошадей век короче. Оба уже немолодые, но еще крепкие. И умные, жизнью ученые. Людей, кто умнее Звездухи, еще поискать надо, а про лошадей и говорить нечего. Манул не проме-

нил бы ее даже на саврасого жеребца высоко-родного Гэрэл-нойона. Ни на что не променял бы. Тому, кого любишь, все богатства мира не ламена.

Один нукер спросил:

— Далеко еще до города русов, Манул-мэргэн?

Манул — дикий степной кот. Десятника так звали не потому что похож — кошачьего в нем совсем ничего не было, а потому что происходил из рода Манулов. В детстве звали иначе: Молчун. Он был неразговорчив, всегда сам по себе, вот и назвали. Когда приезжал к своим на побывку, снова становился Молчуном. Но в родном *нутуге* он бывал редко. Когда юнцом поступил в войско великого Чингисхана, да будет его память священна, во всей сотне из рода Манулов был он один, ну и превратился просто в «Манула». Потом, когда постарел, сделался десятником, младшие стали прибавлять «мэргэн» — меткий стрелок. Стрелял Манул и правда лучше всех в сотне, а хороших лучников в сотне хватало.

— Час рысью. Если вчерашний лазутчик не соврал, — ответил Манул. — Рассыпаться по полю, глядеть в оба! Чуть что — сами знаете.

Десяток *алгинчи*, один из передовых дозоров тысячи высокогородного Гэрэл-нойона, которая, в свою очередь, была передовым отрядом Нижнеорхонского тумена, авангарда всей великой армии, вытянулся цепью по обе стороны от дороги. Расстояние от всадника до всадника — полсотни шагов.

Сам командир ехал посередине, прямо по дороге, что вела в город русов. Из него, как сообщил лазутчик, ведет только два торных пути: один сюда, на восток, другой на запад. Но западную дорогу должен перекрыть десяток рябого Нохой. Обойдут город степью — и закупорят, как кубышку. Никто из города не выберется, весточки остальным русам не передаст. В начале войны, если враг не ждет нападения, всегда так делают. Это уж потом, когда начнется переполох, к вражескому хану или князю шлют посланцев, согласно Великой Ясе: смиритесь или умрите. Но первый вражеский город лучше взять с наскока.

Ночью захватили большой поселок, но это было просто, потому что поселок — не город. Ни стен, ни гарнизона. Кто из крестьян попробовал убежать, всех догнали. Зимой легко догонять — следы на снегу. В город о нападении сообщить

было некому. И нынче Манул получил обычный для алгинчи приказ: всех встречных убивать. Нужно, чтобы город не насторожился, не затворил ворота.

Шуба у Манула из белого барана, малахай из белого яка, Звездуха укрыта белой попоной. Издалека, да против солнца, Манула заметить трудно, а ему всё видно. С годами глаза стали еще зорче, чем в молодости.

* * *

На пути встретили людей еще один раз.

В поле, где летом, верно, был луг, стояли укрытые скирды, и двое, мужчина и парень, накладывали сено в повозку. Монголов они заметили, когда те подъехали уже совсем близко.

Русы были непуганые — знать, давно из Степи никто не набегал. Уставились на конников, быстро приближавшихся на низких мохнатых лошадях. Лишь когда Звездуха, послушавшись легкого сжатия коленей, пустила вскачь и Манул с тихим, приятным шелестом выдернул из ножен саблю, мужик — рослый, с широкой, наполовину седой бородой — понял, выставил впе-

ред вилы. Крикнул что-то парню, тот спрыгнул с повозки, побежал прочь по целине.

От взмаха вил Манул уклонился, разрубил бородачу голову клинком превосходной дымчатой стали. Сабля, как Звездауха, была собой невидная, но отменная. Прочнее алмаза, острее китайской бритвы. Когда брали богатый город Самарканд, Манул снял ее с убитого бека. Нарочно заменил золотую рукоять на деревянную, украшенные камнями ножны — на простые кожаные. Чтоб никто не позавидовал.

Нукеров, которые хотели погнаться за юнцом, Манул остановил. Стрелу тратить тоже не позволил.

Был у него в десятке молодой болгарин из недавнего пополнения. Совсем неопытный, никогда еще не убивал. Его и послал, сказав ободряющее слово.

Булгарин (имя ему дали Сувар, по названию города, где взяли в войско) погнал коня и быстро поровнялся с бегущим. Махнул саблей — мимо. Парень повернул, заметался зигзагами, будто заяц. Сувар опять за ним. Но когда человек знает, что будут рубить, и оглядывается, достать его клинком не так-то просто. Второй, третий, четвертый раз Сувар наезжал на руса, да всё

промахивался. Нукеры кричали обидное, но Манул их устыдил: забыли, как сами первый раз человека убивали?

Игра, однако, могла закончиться плохо. Рус бежал не куда глаза глядят, а к балке. Скатится по склону — гоняйся за ним потом. Только время тратить.

Манул вынул лук, прикинул расстояние, силу и направление ветра. Стрелы дальнего боя, *хоорцахи*, были у него во втором колчане, притороченном к седлу. Целился тщательно — нужно было попасть вертлявому беглецу точно под затылок. Чтобы убить сразу и хоорцах не попортить. В юности позвонки на шее тонкие, не должны погнуть острие.

Воины восторженно завопили. Выстрел был хорош. Но Манул позволил себе довольно улыбнуться, только когда, свесившись с седла, выдернул хоорцах и убедился, что тот цел.

Убитый будто решил приподняться вслед за стрелой, да передумал, снова упал головой в снег. Удивленно открытый глаз смотрел на брызги — алые на белом.

Что за день, вздохнул Манул, застегивая колчан. Двух подростков убил. Плохая примета. Бог смерти Эрлэг, когда его кормят детьми, раззудо-

ривается, будто тигр, отведавший человеческого мяса. Может и на охотника накинуться.

У Манула с Эрлэгом отношения были давние, трудные. За стариков и старух бог смерти награждал, они и так зажились на свете дольше нужного; женщин плодоносного возраста брал, но морщился; мужчинам, если молодые и сильные, радовался. А детская кровь действовала на бога смерти, как хмельной *архи*.

Звездухе покойник тоже не понравился, она зафырчала, нервно повела ушами.

— Ничего, — сказал ей Манул. — Вернемся в лагерь — покормим Эрлэга, доволен будет. А пока вот ему.

Он достал из торбы *хурут*, сушеный творог, который взял себе на обед. Половинку отломил, перетер пальцами, развеял по ветру, шепча: «Тебе, Эрлэг, прими. После еще дам. Ты меня знаешь, я никогда не обманываю».

Уныло сидевшего в седле болгарина, проезжая мимо, хлопнул по плечу — не тушуйся, убивать еще много придется. Война.

Махнул остальным: едем дальше.

Вскоре после того, за косогором, показалась ледяная река, над ней — высокий берег, и там, в двух полетах стрелы, русский город. Первый, какой довелось видеть Манулу.

* * *

Городов на своем веку он насмотрелся самых разных, все и не упомнить: тангутских, китайских, хорезмских, персидских, индийских. Но такого удивительного еще не встречал.

Поразил русский город не величиной — нет, он был совсем маленький, на коне медленной рысью объедешь за четверть часа, и то много будет. Но никогда еще, ни в одном царстве десятник не видывал, чтоб город целиком был выстроен из дерева. Стены, башни, дома — всё.

В родной степи домов не было никаких, только юрты. В чужих царствах — глиняные, каменные, иногда кирпичные. Но дерева везде не хватало, оно стоило дорого. А тут — вон какое расточительство. Должно быть, здесь богатая страна. Повезло Бату-хану, что при разделе мира ему достался Запад, самой ближней частью которого является Русь.

Лазутчик-половец рассказывал, что это пограничное княжество маленькое и слабое, захватить его будет совсем легко. Говорил он и как называется город. Но название ни произнести, ни запомнить — похоже на свист *одора*, тяжелой стрелы, которой пробивают доспехи.

Переехав реку по льду, Манул велел воинам рассредоточиться вдоль кромки обрыва и не высовываться. Поставил далеко друг от друга, чтобы охватили город полукругом и затаились. Сказал: можно поесть, но огня не разводить и глядеть в оба. У всех было по две шубы, верхняя и нижняя, теплые овчинные штаны, войлочные или меховые унты, хорошие малахаи. Не замерзнут, даже когда к ночи заходит.

Сам улегся на краю спуска, стал смотреть внимательней.

Стены не шибко высокие. Толстые бревна закрыты торцом в землю, меж острых концов удобно укрываться стрелкам.

Башня над воротами четырехугольная, там блестит шлемом часовой. Ходит. Пускай ходит, ничего против солнца не увидит.

Есть ров. Он замерз, но скаты посверкивают льдом. Поливают их, что ли? Это плохо. Зато мост спущен, ворота нараспашку. Это хорошо.

Интересно было вот что. Вокруг всей стены по сю сторону рва зачем-то сложены большие поленицы дров. Это совсем хорошо. Если не получится захватить город с лету, за поленицами отлично укроются лучники. Ни один рус со стены не высунется. А кто попробует — пожалеет.

Река опоясывала город полукругом. Точно так же был расположен в Китае этот, как его, Сянлун? Только китайский город был весь глиняный и раз в двадцать больше. Чингисхан в мудрости своей решил не ходить на приступ, не губить монгольских жизней. Согнал со всей округи крестьян, десять тысяч человек. Ночью они бросили в воду каждый по десять мешков земли и перекрыли реку. Она потекла на город и затопила его. Гарнизон сдался. Никто из нукеров не погиб, только зарубили сто или двести крестьян за медленную работу.

Про взятие китайского города Манул вспомнил просто так, без умысла. Крестьян в этих малолюдных краях столько не сгонишь. К тому же зима, река подо льдом. А главное — зачем терять время? Такую мелочь, да еще врасплох, можно взять на саблю, с разгона.

Больше высматривать было нечего. Пора назад, с донесением.

Оставив вместо себя самого опытного из воинов и повторив ему еще раз: никого не пропускать ни в город, ни из города, Манул сел на заскучавшую Звездуху и помчал обратно — весело, с ветерком.

Ночью, под покровом темноты, вся передовая тысяча переместится на лед реки. А утром, как только опустят мост, стремительная лава пронесется по открытому пространству, влетит в открытые ворота. И первый русский город станет монгольским.



A decorative flourish consisting of several overlapping, flowing lines that form a central frame around the text.

ВЕЛИКАЯ ЯСА



По дороге, чтоб не было скучно, Манул разговаривал со Звездухой. Верней, говорил он, она слушала, иногда соглашась, иногда нет. И никто на всем белом свете не убедил бы Манула, что лошади просто нравится звук его голоса. Всадник знал, что она его понимает. Бывает, и вовсе без слов.

— Мы оба немолоды, — говорил десятник. — Нам с тобой надоела такая жизнь. Скачи тысячу газаров на юг, потом десять тысяч газаров на восток, убивай людей, которые тебе ничего плохого не сделали, сжигай города, которые тебе ничем не мешают.

Звездуха тряхнула челкой, удивляясь. Ей походная жизнь не надоела. Другой жизни кобыла не знала. Она думала, по-иному и не бывает.

— Ты просто забыла. Давно не паслась в родных степях, давно не ела сладкой травы с берегов Орхона. Ничего, это самая последняя война. Великий курултай постановил завоевать всю землю, расположенную меж четырьмя океанами, и поделил ее на четыре улуса. Нашему хану Бату, сыну великого Джучи, который был сыном великого Чингисхана, достался весь Запад. Мы дойдем до Западного океана, другие улусы дойдут до Восточного и до Южного, а Северный океан никому не нужен, потому что там холодно



и нельзя жить. После этого мир станет одной державой, повсюду воцарится один справедливый закон Великой Ясы, земля задышит одним дыханием, будет думать одной головой. Больше не будет голода, войн, беспорядков. Нукеров великого войска щедро наградят. Кто захочет остаться в завоеванных краях, получит по табу-ну лошадей, по отаре овец, по три жены и по десять боголов. А десятники вроде меня станут для новых подданных великого хана нойонами. Но я не хочу быть нойоном в чужой стране, я не хочу никем повелевать, хочу провести старость у себя дома. Неужто ты правда не помнишь, какие красные восходы у нас в степи? Как журчит речная вода? Как стелются под ветром серебристые травы?

Звездуха всхрапнула.

— Ничего. Увидишь — вспомнишь. Будем с тобой жить на покое да радоваться. Жену заведу одну, трех мне не надо, стар я уже для трех. А для отцовства еще не стар. Будут у меня дети. Пообещай, что не будешь ревновать. Жену я, как тебя, любить не буду, а дети — все равно что часть меня.

Лошадь, не сбавляя рыси, низко опустила голову. «Схоронишь меня — живи с кем хочешь», — так ее понял Манул.

— Зря ты. Лошади на покое и двадцать лет живут, и больше. Вместе состаримся. Если по-мрешь раньше, не дам содрать с тебя шкуру, отрезать копыта. Похороню на том самом берегу, с которого ты тогда, жеребенком, прыгнула в Орхон. И велю, чтоб там же зарыли и мои кости. А если первый умру я, завещаю содержать тебя в сытости и почете.

«Ты умрешь — и я умру, — шумно вздохнула Звезда. — Пусть меня сразу с тобой закопают».

Всадник растрогался. Потрепал лошадь по рыжей гриве.

— Ладно, мы с тобой пока живые. Поднажми, милая. Нойон жаждался.

Тысячник сидел в походной кибитке, собирал донесения от передовых дозоров, посланных в шесть разных концов.

Лагерь был разбит около захваченного прошлой ночью поселка, в укрытой от ветров лощине. Проезжая меж бревенчатых русских домов, Манул увидел на снегу зарубленных стариков и старух. Они лежали аккуратно, по трупы через каждые двадцать шагов. Их убили для наглядно-

сти: чтобы местные были покорны. Так делают всегда. Чужие старики и старухи — зачем они? Какой от них прок?

В кибитке было почти так же холодно, как снаружи, поэтому Гэрэл-нойон сидел на возвышении из войлоков, одетый в лисью шубу с золотыми пуговицами. Теплые гутулы, правда, скинул, остался в белых замшевых чаруках. Отороченная мехом шапка тоже лежала рядом. Поблескивала чисто выбритая макушка, на которую через откинутый полог светило солнце. Челка на лбу и заложенные за уши косички лоснились от молодости. Нойону было всего двадцать зим, на его румянном лице едва пробивались тщательно намащенные усики.

А Манул за красотой не следил — раз в луну соскребал с головы и с лица растительность острой саблей. Меньше волос — меньше вшей.

Упав у входа на колени, он ткнулся щетинистой башкой в войлочный пол. Порядок, установленный Чингисханом, да будет священна его память, предписывает почитать вышестоящих, потому что на уважении к власти держится гармония Вселенной. Когда-то, во времена Манулова детства, никто перед нойонами не кланялся, всякий монгол мнил себя вольной птицей. Про-

клятое было время. Сейчас много лучше. Поклонись большому человеку — колени не переломятся и лоб о мягкий войлок не разобьется. Гэрэл-нойон к тому же не просто тысячник, он — сын самого Чингисхана. Правда, поздний, и не от жены — от младшей наложницы, так что и ханом не зовется. Но все равно — царевич. Над его палаткой торчит бунчук не просто двойной, как положено всякому тысячнику, а с хвостами белого цвета, знаком царской крови.

— Вот и пятый вернулся, трехбровый татарский кот, — сказал тысячник, когда Манул распрямился, сел на корточки. — Рассказывай.

Что «трехбровый» — не обидно. У Манула через всю левую половину лица, сверху донизу тянулся старый сабельный шрам, рассекая бровь на две части. Что «кот» — тоже ничего. Манул и есть кот. А вот что «татарский» — это было горько. Десятник хоть и ослабился, но по сердцу пробежал холодок.

Сто зим служи верой и правдой, в навозную лепешку разбейся, а не забудут.

Манул был хоть и монгол, но проклятого татарского корня. Татары когда-то сгубили Чингисханова отца и дольше всех прочих степных народов не покорялись великому объединителю.

Одно из самых страшных в Мануловой жизни воспоминаний было такое.

Сорок зим назад в сражении с Чингисхановым войском погибла последняя татарская рать. На следующее утро курень окружили чужие всадники, говорившие меж собой не по-тюркски, как татары, а по-монгольски. Девятилетний Молчун тогда понимал этот язык с пятого на десятое.

Всех мужчин, кого нашли, победители убили сразу. Мальчишек одного за другим подводили к повозке, ставили около колеса. Кто оказывался выше — рубили. Кто ниже — отгоняли в сторону, чтобы отдать на воспитание. Молчуну не хватило до верхнего обода полпальца.

Так он первый раз ощутил затылком холодное дыхание бога смерти Эрлэга, но не погиб, а попал к манулам. Они тоже были татары, но умные — вовремя переметнулись на сторону Чингисхана и уцелели. Однако и на манулах лежало пятно татарства. Великий Чингисхан, да будет священна его память, объявил все степные племена единым народом — монголами. Так-то оно так, но монголы бывают первого, второго и третьего разряда. Если в твоих жилах татарская кровь, выше десятника не поднимешься, не мечтай. А Манул и не мечтал.

* * *

Донесение нойон выслушал жадно, нетерпеливо.

— Я так и знал! — воскликнул он. — Пустяковое дело. Нечего ждать темноты! Лошади отдохнули. Надо сниматься с лагеря. Через три часа доскачем до города, а еще через час он будет наш!

Сбоку от тысячника сидел длинноротый старик с неподвижным лицом, будто вырезанным из дубовой коры.

— Это только пятый десятник, — мягко произнес он. — А посланы шестеро.

Гэрэл обернулся к нему, но старик больше ничего не сказал. Это был мудрый человек, шаман, приставленный к сыну великого хана, чтобы учить его закону и предостерегать от ошибок. Звали шамана Калга-сэчэн. «Сэчэн» означает «мудрец», а имя «калга» старик получил за то, что был, как молчаливая стрела, которой снимают вражеских часовых. Он говорил кратко и редко, но метко.

— Да, дождемся последнего десятника, — согласился нойон. Он всегда соглашался с Калга-сэчэном.

Но еще раньше прискакал нукер Медведь, которого Манул оставил вместо себя за старшего.

Он вбежал в кибитку, запыхавшийся от быстрой скачки и, увидев Манула, поклонился ему, а не тысячнику — так предписывал устав: нельзя обращаться к высшему начальнику через голову непосредственного командира.

— Манул-мэргэн, нехорошо! Через час после того, как ты уехал, в полдень, в городе загудела медь. Русы забегали по стенам, затворили ворота и подняли мост! Я гнался за тобой во весь опор, но не догнал!

— Вы себя выдали?! — грозно спросил нойон.

Вот теперь нукер, раз уж на него обратил внимание сам тысячник, повалился головой в войлок.

— Нет, гуай. Мы сидели и не высовывались. Это, наверное, люди Нохоя, засевшие с другой стороны.

Но почти сразу же снаружи вновь застучали копыта, кто-то шумно спрыгнул наземь, крикнул: «Срочное донесение!» — и в шатер вбежал сам рябой Нохой.

— В городе тревога, гуай! — крикнул он. — Наверно, люди Манула себя выдали!

Здесь он поднял голову, увидел Манула и осекся.

Нохой был человек плохой, двоедушный, хуже своего имени, которое означает «Собака».

Говорил ласковые слова, улыбался, но в улыбке был яд.

Хорошо, что Медведь поспел первым. Пускай Гэрэл-нойон сам решает, кто виноват.

Однако тысячник не рассердился, а обрадовался.

— Что ж, — довольно молвил он. — Знать, такова воля Тенгри. Возьмем стены штурмом. Бейте в барабаны! Выступаем!

И Манул понял. Захватить город врасплох — заслуга небольшая, честь невеликая. Слава достается тому, кто пролил много крови.

— Когда враг ждет нападения, Великая Яса предписывает отправить посланцев с разумной, мирной речью, — молвил Калга-сэчэн очень тихо, так что Манул едва расслышал.

Гэрэл нахмурил красивые, будто два тугих лука, брови. Задумался. Не хочет, чтобы русы сдались без боя, догадался Манул. Но и нарушать закон не осмеливается.

Взгляд молодого военачальника почти сразу же прояснился.

— Мы сделаем как положено. Но посланец будет говорить с русским нойоном грубо и объявит условия, с которыми нельзя согласиться.

— Условия менять нельзя, они определены Великой Ясой, — прошелестел шаман. — Изъявление покорности и десятина.

— Я знаю закон! — Тысячник улыбался, очень довольный тем, как ловко он придумал. — Мой посланец скажет слово в слово вот что. «Все жители города во главе с нойоном должны выползти на коленях за ворота и склониться лбами к земле в знак покорности перед ханом Бату. Десятая часть мужчин станет рабами и носильщиками при монгольском войске. Десятая часть молодых женщин отправится в монгольский лагерь, чтобы потешить воинов. Если у нойона русов есть сыновья, старший станет мне прислужником. Если есть дочери, одну возьму себе в наложницы. И жену пусть тоже пришлет, посмотрю, хороша ли». Ну как? — обернулся он к шаману.

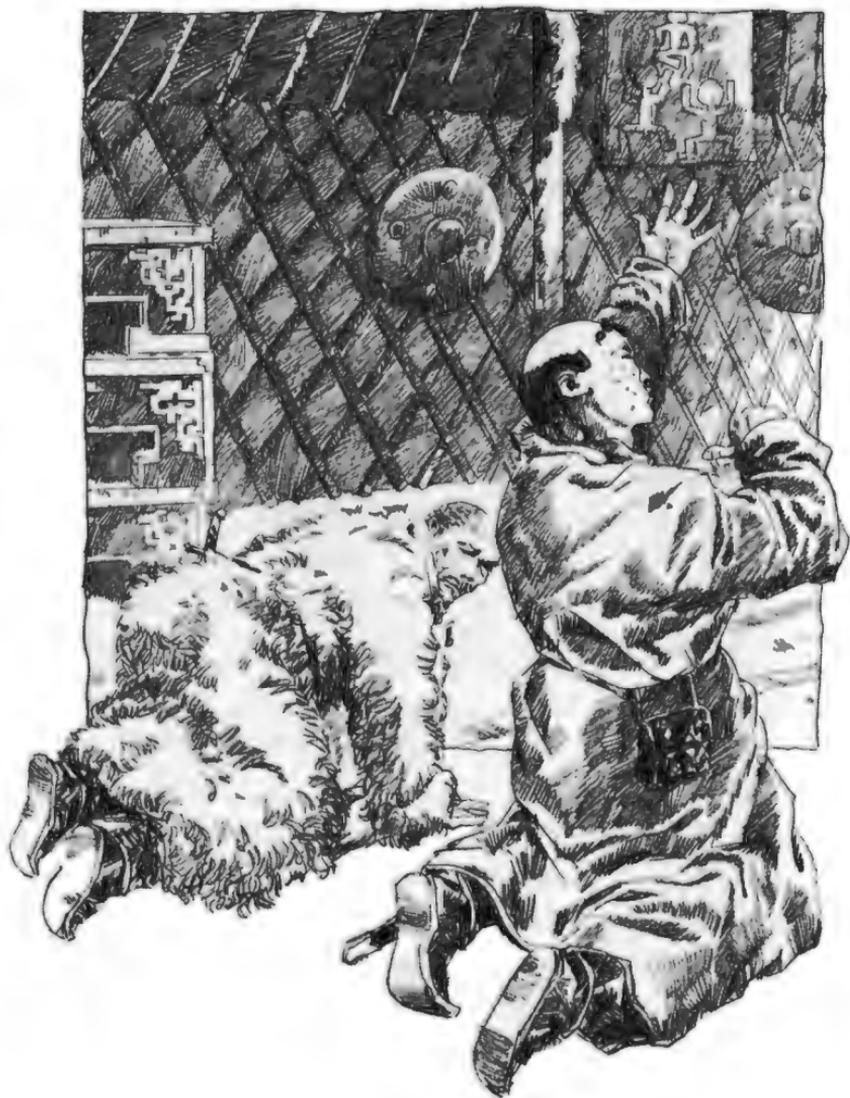
— Никто на такое не согласится, — ответил тот.

— Вот и хорошо. Разве мои условия противоречат Ясе?

Калга-сэчэн неодобрительно покачал головой и ничего не сказал.

— Я хочу понять, что за народ русы, — стал объяснять ему нойон. — Барсы они или овцы. Крепки или податливы. Нам ведь с ними воевать.

— Ну разве что для этого... — Старик вздохнул. — Но тогда нужно посмотреть, как русы выслушают такие условия. Я поеду в город.





— Нет, только не ты! — быстро сказал Гэрэл. И кивнул на десятников: — Кто-нибудь из них.

Нохой приосанился, расправил плечи. На Манула глянул с ненавистью.

Хочет ехать к русам, дурак. Манул-то, наоборот, весь съезжился, скосбочился, чтобы нойон увидел — какой из него посланец?

Замысел тысячника был ему ясен. Нохой молод, он не знает, что русы — дикари и убивают

послов, даже когда те не дерзят. Так случилось пятнадцать зим назад, когда великий Субэде-багатур и великий Джучи-нойон ходили с разведкой к русским границам. Манул в том походе не участвовал, но слышал рассказы очевидцев, он уже тогда был десятником. Русы убили монгольских послов, которые пришли к ним с вежливыми словами, и пришлось задать варварам взбучку.

Гэрэл-нойон хочет, чтобы русы опять убили посланца. Тогда, согласно Великой Ясе, город нужно будет взять на саблю, а всех жителей перебить. Весть об этом разнесется по всей армии: первый бой с русами и такой кровавый.

Очень Манул надеялся, что нойон поручит ехать на верную смерть Нохою — тот и ростом вышел, и статью. Но Гэрэл приказал:

— Тяните жребий.

И стало Манулу тоскливо. Он был сроду невезучий. Когда у сотника тянули жребий все десять десятников — кому табун стеречь или во внеочередной дозор заступать, он почти всегда вытаскивал короткую щепку. А тут одна не из десяти — из двух.

Тянуть пришлось из руки у телохранителя, не то Манул с болваном Нохоем сговорился бы. Но нет, судьбу не обманешь. Щепка, ясное дело, оказалась короткой. Ах, Эрлэг, Эрлэг... Бог смер-

ги обиделся, что Манул не сделал обещанного подарка. А когда? Ведь времени не было.

Пока десятники тянули жребий, тысячник о чем-то переговаривался с шаманом.

Потом подозвал Манула, еще раз произнес невыполнимые условия сдачи и заставил повторить, слово в слово.

Манул к этому времени уже немного успокоился. Придумал, как вывернуться из лап Эрлэга.

Перво-наперво принести ему хорошую жертву: зарезать барашка и всю кровь вылить на снег.

А во-вторых, не говорить русскому нойону оскорбительных слов. Повести речь так, чтобы русы сдались по-хорошему. Ибо зачем дуть на встречу урагану?

Поэтому Манул глядел на начальника браво и повторил задание бодро. Но дальше случилось худое.

— С тобой поедет толмач, — сказал вдруг Гэрэл. — Ты говори по-монгольски, а он переведет на тюркский. Русы давно живут с кипчаками, знают язык.

— Я тоже его знаю, гуай, это мой родной язык! Мне не нужен переводчик.

— Заткнись, татарин! — Тысячник сверкнул бешеными глазами. — Исполни что велено. Толмачом с тобой отправится Калга-сэчэн. Прямо сейчас, сию минуту, езжайте.

И стало Манулу ясно, что на сей раз с Эрлэгом он не сторгуется. Барашка зарезать не успеет. А старый шаман не даст исказить слова нойона.

Русы обидятся и убьют посла. Переводчика-то отпустят. Их никогда не трогают, они всем нужны. И потом, должен же кто-то отвезти назад отрубленную голову. Это в лучшем случае. В хорезмском городе Отраре с монгольского посла содрали кожу, набили чучело соломой, посадили на осла и отправили с толмачом обратно. Потом за это великий хан, конечно, приказал убить всех жителей, сорок тысяч человек. Возможно, замученному послу из небесных угодий приятно было на это смотреть. Но мертвого Манула такое зрелище не утешит.

Выйдя из кибитки, десятник обнял Звездуху. Вот с кем расставаться жалко, остальное-то — ладно. Надо о ней позаботиться.

Кобыла учуяла тревожное. Ткнулась в Манула мордой, спросила: «Ты что? Ты что?»



A decorative frame composed of several overlapping, flowing black lines that form a central oval shape. The lines are elegant and calligraphic, with some crossing themselves to create a sense of depth and movement. The frame encloses the text in the center.

ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД



Ехали уже в темноте, под звездами. Впереди — шаман на смирном мерине, укутанный в одеяло поверх ватного хорезмского халата. Над головой старика мерно поднимались сизоватые клубы дыхания, к вечеру приморозило. На посланца Калга-сэчэн не обращивался, что и понятно. Большой человек, какой ему интерес болтать с каким-то десятником. И потом, не больно приятно вести разговоры с тем, кого убьют, когда сам останешься жив. Манул бы тоже держался от такого спутника на отдалении.

Десятник сутулился, прощался с жизнью. Вспоминал всё плохое, что с ним случилось за долгие годы. Хорошие воспоминания гнал прочь. Ну и, конечно, воображал, как хорошо на про-

сторах Небесной Степи, где вечно зеленой траве сверкают алмазные звезды, ветер благоуханен, ручьи хрустальны, а цветы съедобны.

Только так и нужно готовиться к смерти. Дело привычное: перед каждым боем, перед каждой опасностью десятник проделывал одну и ту же подготовительную работу — припоминал жизни все удары и обиды. Потому и не робел ни в каких переделках. Но и на рожон тоже не лез. Если ты не боишься Эрлэга, это еще не значит, что нужно торопиться на встречу с ним.

Однако нынешняя поездка была хуже самого жаркого сражения. Там всегда есть надежда, что как-то выкарабкаешься. Здесь надежды не было. Манула за тем и отправили к русам, чтоб те его прикончили.

Вот, выходит, зачем родила его мать сорок девять зим назад. Вот зачем он ездил из края в край земли, убивал чужих людей, терпел лишения, залечивал раны. Гэрэл-нойону нужен повод, чтобы возвыситься. И десятник Манул — перекладина лестницы, которая хрустнет под ногой благородного нойона.

Сзади растянулись вереницей всадники эскорта. Они в город не поедут, будут ждать, когда вернется Калга-сэчэн с трупом посланца. Хорошо еще, если русы отдадут тело. Свои хоть

похоронят по-людски. А русы могут и свиньям скармить. Одно слово — варвары, без закона и чести.

Воспользовавшись тем, что конники поотстали, Манул решил поговорить со Звездухой. Надо было объяснить, что ее ждет, а то еще заупрямится — она такая.

— Я оставлю тебя перед деревянным городом с хромым Дувой, а сам пересяду на его чалого. Так надо, ты не ревнуй.

Нельзя было ехать на Звездухе к русам. Убив посла, они заберут лошадь себе. Будут бить ее плетью, поставят на тяжелую работу, к которой Звездуха непривычна. А нукер Дува знает, какая Звездуха умная, и позаботится о ней.

Но кобыле не понравились его слова, она встревоженно проржала: «Зачем нам разлучаться?»

У Манула ответ был готов:

— В деревянном городе и улицы деревянные. Ты ведь не любишь ходить по доскам. Помнишь, как занозила копыто тогда, на дощатом мосту? Ты не волнуйся. Я ненадолго. Побудешь с Дувой?

«Ты меня обманываешь! Я тебе не верю!» — фыркнула Звездуха и дернула крупом так, что всадник подскочил в седле.

Калга-сэчэн придержал мерина, дал Манулу подъехать.

— Я слышал, что ты сказал лошади, у меня острый слух. Однако я не понял, что она тебе ответила. Я знаю много языков, но не лошадиный.

По заинтересованному взгляду шамана Манул понял: старик не шутит, — и смутился. Никто и никогда не догадывался, что Звездах понимает человеческую речь и может говорить.

— Научишь меня? — спросил Калга-сэчэн.

Отпираться смысла не было. Зачем, если все равно скоро конец?

— Не успею, — ответил Манул, мало заботясь о том, что его слова покажутся шаману дерзкими. — Через час или два русы меня убьют. Ведь именно этого хочет царевич.

— Мало ли чего хочет царевич...

Манул сморгнул — засомневался, правильно ли расслышал. А старик как ни в чем не бывало продолжил:

— Гэрэл еще совсем молод и оттого не очень умен. Ты будешь говорить с русами не так, как велел нойон, а так, чтобы русы сдались. Зачем зря лить кровь? Ее на этой войне и без того будет много.

Калга-сэчэн вежливо потрепал Звездуху за ухо, и она не отстранилась. Должно быть, тоже слушала и удивлялась.

— Твое дело, десятник, военное. Смотри, как устроена оборона. В этом ты смыслишь больше моего. А как вести переговоры, в этом больше смыслю я. Я знаю язык русов. Все два года, пока готовился Западный поход, я учился у одного кишчака. Я буду слушать, о чем русы говорят между собой, и подскажу тебе, как повернуть беседу. Они же станут думать, что я просто перевожу. Мне надо присмотреться к русскому князю и его багатурам. К каждому человеку ведет своя тропинка.

У Манула внутри происходило странное. Будто по растрескавшейся от испепеляющего зноя пустыне потекли струйки воды, и земля ожила, пустила зеленые побеги. Сразу забылось всё плохое, виденное в жизни, из памяти полезло хорошее: пьянящая скачка по весенней степи, сладость первого глотка воды из чистого родника и разное прочее. Жить, жить! А Небесные Пастбища никуда не денутся.

До этого момента Манул зяб, а тут вдруг стало тепло, даже расстегнулся. Сверху на нем была казенная волчья шуба, покрытая зеленым сук-

ном, — выдали, чтоб не позорил монгольскую армию. Под шубой был еще ветхий тулупчик из тарбагана. Прореха на прорехе, греет плохо, но он — единственный, что напоминало о родных местах. Остальная одежда и обувь давным-давно сносились за годы непрекращающихся походов, а тарбагановая шубейка всё держалась и пахла родным нутугом. В ней Манул собирался нынче умереть, чтобы она сопровождала его и на встречу с Эрлэгом. Потому и надел вниз.

Теперь они ехали с шаманом бок о бок, но совсем близко Звездуха мерина к себе не подпускала. Характер у нее с годами делался всё труднее. Она и вообще-то других лошадей не любила, предпочитала людей, а оскопленных жеребцов на дух не выносила.

Молчали. Манулу было о чем подумать. Калга-сэчэну, надо полагать, тоже.

Про мудреца рассказывали, что в молодости он много странствовал, побывал во всех краях света. Шаманом стал, когда состарился. Это самое лучшее, что может случиться с человеком: дожить до мудрой старости и научиться слышать богов.

— Э, что это? — пробормотал Манул, приподнимаясь в стременах.

Вдоль горизонта — там, где следовало находиться деревянному городу, — мерцала красная полоса.

— Подождли, когда стемнело, — сказал Дува. — Огненными стрелами. Дерево, наверно, пропитано маслом или жиром. Сразу запылало.

Они смотрели на город, стоя на берегу реки. Деревянная крепость была окружена огненным кольцом. Пылали поленицы, за которыми так удобно было бы укрываться лучникам. Вот они здесь зачем, дрова: чтобы освещать подступы в ночное время. Так что подобраться к стенам незаметно все равно не удалось бы.

Город был весь алый, будто подземное царство Эрлэга, где всегда горят озера, наполненные кровью плохих людей.

— Перестань, как не стыдно! — укорил Манул свою лошадь, которая враждебно оскалилась на Дуву и клацнула зубами: не подходи. Вообще-то они были друзья, но Звезда не забыла, что Манул собирался оставить ее с хромым.

— Успокойся. Мы поедем вместе, — шепнул он кобыле. Дуве велел: — Ждите здесь. Эскорт

тоже останется. Если мы с Калга-сэчэном через два часа не вернемся, скачите к царевичу.

— Мы вернемся, — сказал Калга-сэчэн, и Манулу стало совсем спокойно. Шаманы умеют видеть будущее.

Город уже не казался десятнику царством Эрлэга. Просто деревянная крепость, вокруг которой горят большие костры.

* * *

У ворот шаман громко крикнул, приложив ко рту ладони:

— От военачальника Гэрэл-нойона посол к хану Ингварю!

Надо же — знает имя здешнего князя, удивился Манул. Он внимательно рассматривал ров и подъемный мост. В свете пламени было неплохо видно.

На башне густо стояли воины, держали луки наготове. Лязгнули цепи, мост медленно опустился. Ворота приоткрылись ненамного — только протиснуться всаднику.

— Въезжайте по одному! — приказал зычный голос по-тюркски, с резким акцентом.

Вблизи город оказался совсем чудным, ни на что виденное прежде не похожим. Лазутчики рассказывали, что неподалеку отсюда степь кончается и начинаются сплошные леса — лишь этим могло объясняться подобное расточительство: не только дома, но даже заборы на улице были из прекрасного дерева. В степи такую древесину продавали бы на вес.

Проезжая часть вся была устлана гладкими дубовыми плашками, так что гулко постукивали копыта.

Но на странные горбатые дома и на диковинную мостовую Манул смотрел мало. Его интересовали люди, благо повсюду горели факела.

Русы стояли по обе стороны, пялились на чужих. Впереди, в две шеренги, — воины. Их десятник оглядел с особенным вниманием.

Высокие, сильные, в железных кольчугах и шлемах. Сабли прямые, длинные, а копья коротковатые и без крюка — всадника с седла сшибать неудобно. Щиты тяжелые, широкие наверху, узкие внизу.

За спинами русских нукеров толпились горожане, к которым Манул тоже присмотрелся. Мужчины были с широкими бородами, у женщин головы обвязаны разноцветными тряпками. Лица у одних злые, у других испуганные.

Прикинул, сколько воинов, сколько жителей.

Улица вывела на небольшое поле. Называется «площадь», в городах всегда такие есть: в маленьких одна, в больших несколько.

Посередине стояла еще одна крепостца: высокий тын, из-за него торчат острые крыши. Здесь наверняка ставка русского князя.

У ворот посланца и толмача заставили спешиться.

— Я скоро вернусь, — шепнул Манул лошади. — Не волнуйся.

Прошли тесным двором в большой дом, верней, сразу три дома, поставленных друг на друга, и в каждом ярусе свои оконца. Ничего, в хорезмских, персидских, болгарских городах Манул видывал дворцы и повыше. Люди, которые по доброй воле запирают себя в городах, вынуждены тесниться, им вечно не хватает места. Манул задохнулся бы от нехватки простора, доведись ему поселиться в таком жилище.

По узкой лестнице поднялись в деревянную юрту — большую, квадратную. Там горели свечи, много. Прежде чем сосредотчиться на людях, Манул быстро огляделся — потом будет не до этого.

Парадная юрта у князя русов была небогатая, не то что во дворце хорезмского бека, где Манул

когда-то добыл свою чудо-саблю. Стены простые, без украшений. Только в углу, меж занавесочек, висела небольшая картинка с каким-то бородатым лицом, под ней горел малый светильник. Наверное, изображение особо чтимого предка, покровителя рода — как у китайцев. Еще были сундуки и скамьи, накрытые цветной тканью. На большом резном столе лежали ровными стопками прямоугольники — кожаные и бархатные, с серебряными оковками. Манул знал, что это такое, видел в Хорезме. Называется «книги», там внутри тонкие-претонкие шуршащие пластинки, покрытые закорючками. Бывают и маленькие рисунки, непонятные. Книгами хорошо разводить костер, они горят лучше самого сухого хвороста. У русского князя их было штук двадцать. Манул никогда еще не встречал в одном месте столько этих красивых безделиц.

На беглый осмотр помещения ушло всего несколько мгновений, после чего десятник остановил взгляд на русах.

Трое пожилых сидели у стола. Еще трое — мальчик-подросток и две женщины, юная и старая, — стояли позади.

Главным, конечно, был тот, что сидел посередине. Седой, щуплый, близоруко шурится. Посередине лба пятнышко, круглое. То ли родимое,



то ли нарисованное — может, у русов такой знак княжеского достоинства. Одет просто — ни золота, ни серебра. Слева от него, видимо, начальник войска — бычья шея, обветренное красное лицо, большие усы, крест-накрест ремни. Справа — старик в черном колпаке. Шаман или советник — точно не воин.

Видеть на переговорах рядом с нойонами женщин было необычно, поэтому Манул посмотрел и на них.

Толстая старуха с желто-белыми волосами, выбивавшимися из-под высокой узорчатой шапки, держалась прямо за князем, рукой пугливо

трогала его за ворот. Ясно: старшая жена. Вторая была совсем молодая, нарядная, в красивой головной сетке из мелкого жемчуга, острым углом спускавшейся до переносицы. Эта глазела не испуганно, а скорее с любопытством. Любимая наложница или дочь? Наверное, дочь. Очень уж некрасивая: тощая, волосы белые, глаза круглые, будто у совы, и носище, как кончик сапога. Юнец, лет шестнадцати или семнадцати, конечно, был княжичем. Смотрел волчонком, чуть не щерился.

Ладно, бес с ними. Важности эти трое не имели.

Только Манул подумал так, и старая женщина — вот чудо из чудес — первая, без мужнина разрешения, что-то произнесла.

Калга-сэчэн сзади почти беззвучно, не шевеля губами, перевел:

— Говорит, что мы страшные. На людей непохожи.

Сказал что-то и князь.

— Говорит: уходите, не мешайте, тут дело суровое.

Но женщины и мальчишка не ушли. Манул понял, что князь этот слабый — домашние и того не слушаются.

Потом главный рус обратился к монголам, по-тюркски. Этот великий язык, разделенный на

множество наречий, понимала вся Степь.

— Кто вы? — спросил князь. — Почему напали на мое село? Что сделали с крестьянами? Где они?

«Откуда он знает про село? Значит, всё же кто-то сумел добраться до города. Потому и ударили тревогу. Но как? На снегу остались бы следы».

И шаман сзади тоже шепнул:

— Спроси: откуда знает?

Манул спросил:

— Напали? С чего ты взял, князь?

Рус нахмурился.

— Не пытайся меня обмануть, чужеземец. У нас еще со времен половецких набегов заведено: дважды в сутки ближнее к Степи село подает знак. В полдень пускает в небо столб черного дыма. В полночь разжигает большой костер на горке, его видно за двадцать верст. Если дыма или огня сразу два, нужна подмога. Если ни одного — село захвачено.

Манул вспомнил, что на холме близ русского села, и правда, зачем-то были сложены две кучи хвороста. Вот оно что. С такой предосторожностью монголам сталкиваться еще не приходилось. Ловко придумано.

— Говори, зачем пришли. — Старый князь хмурил белые брови, но грозно у него не выхо-

дило — взгляд был встревоженный. — Разве мы вам сделали что-то плохое? Кто вы такие?

— Четвертое, — подсказал сзади Калга-сэчэн.

По дороге, пока ехали, он подробно объяснил, как разговаривать с князем русом.

Если окажется глупый и чванный — одно.

Если глупый и робкий — второе.

Если умный и воинственный — третье.

Если умный и миролюбивый — четвертое.

Манулу тоже показалось, что русский ной-он — человек умный, но не воин. Это хорошо. Поймет, в чем его выгода, и сдастся. От этого всем будет лучше, кроме царевича, который еще успеет отличиться. Война ведь только начинается.

И десятник произнес речь — в точности, как велел мудрый шаман. Сказал про хана Бату, которого великий государь Угэдей, повелитель мира, назначил своим наместником в западной стороне земли. Сказал, что город русов — песчинка на пути могучего урагана. Ни остановить, ни даже задержать этот ураган никто не сможет. Что монголы — тот самый народ, который пятнадцать зим назад одним своим передовым отрядом разбил всех русских князей. И дальше говорил тоже всё, как заучил.

Мог бы особенно не стараться. Калга-сэчэн переводил на тюркский лучше, чем говорил «по-

сол». Кое-что прибавлял от себя. Например, Манул забыл помянуть, что, если со стен полетит хоть одна стрела, все жители будут преданы смерти. Если же покорятся, то отделаются малой платой — десятой частью имущества. Монголы заберут и десятую часть людей, но пугаться этого незачем. Мужчины, кто сильный, вольются в войско великого хана, а кто умелый — отправятся в столицу империи и увидят там много чудесного. Женщины станут монгольскими наложницами, будут жить в сытости и почете.

Хорошо объяснял, необидно. Но воинский начальник, слушая, побагровел и задвигал усами. Он, конечно, хотел драться — все воеводы одинаковые. Старик в черной шапке шевелил губами, полузакрыв глаза. Наверное, призывал духов. Бабы вели себя тихо. А юнец один раз — когда толмач сказал, что придется выйти в поле и земно поклониться ханскому полководцу, — крикнул, по-тюркски:

— Собака! Как ты смеешь?!

Но князь поднял палец, и мальчишка умолк. Щеки у него запунцовели.

Напоследок Калга-сэчэн сказал еще вот что, сам от себя, потому что Манул такого и не собирался говорить:

— Посол видит, что ты мудр, и потому ведет речь без лукавства, а желает тебе добра. Мы пришли не за добычей. Мы пришли навсегда. И не остановимся, пока не дойдем до Западного Океана. Теперь мир будет единым, с одним государем. От этого всем будет хорошо. Открывайте ворота без боязни. Поклонитесь великой силе и великому закону. Если нет — погибнете. Нам придется убить вас всех без пощады, потому что это первый город русов, и мы должны показать вашему народу, что бывает за непокорство. Пожалей своих людей, князь.

На месте князя Манул согласился бы, не задумываясь. Но тот, когда толмач умолк, молвил лишь одно (шаман сзади тихонько перевел):

— Так и думал, что это татарове. Про них половцы давно толкуют. Пришли, значит... — И спросил своих: — Что скажете?

Первым опять встрял невоспитанный мальчишка:

— Вели посадить их в железа! Будут знать, как угрожать!

Старая хатун воскликнула (шаман перевел и это):

— Господи, погибель наша пришла!

Но эти — ладно. Что скажут советники?



— Ни шлема у него железного, ни кольчуги, — пробасил воевода. — Саблишка плохонькая. Половцы — и те грознее будут. Ишь чего захотели — десятину. У нас стены дубовые, ров ледяной. Зубы обломают.

Жрец был осторожней.

— Если их сила — это одно, князь. А вдруг брешет он? Может, набежали за добычей, а мы им ворота откроем. Скажи ему, князь, что своего



посла к ихнему хану пошлешь. Поеду с Божьей помощью. Посмотрю, сколько их и каковы.

Одна только беловолосая девка ничего не сказала. Тарасилась, пучеглазая, ладонью рот зажимала.

Да, не было у русов ни порядка, ни истинного почтения к господину. Князь ответил каждому, будто они ему ровня.

— Послов сажать в железа нельзя.

Это — сыну. Манул сразу повеселел.

Жену успокоительно погладил по руке.

Воеводе кивнул. Жрецу даже поклонился — совсем этот князь был лядаший, безо всякого величия.

Потом перешел на тюркский:

— Имущество — ладно. Коли вас в самом деле много — берите. И склониться перед вашим царем я тоже готов. Но как же я десятую часть своих людей в неволю отдам? Все они — живые души.

Голос у него был мягкий, рассудительный.

— Отвечай что хочешь, — шепнул шаман. — Только недолго.

Манул важно сложил руки на груди, продекларировал начало сказания о родословии Чингисхана: «Предком Чингисхана был Борте-Чино, родившийся по изволению Вышнего Неба. Супругой его была Гоа-Марал. Явились они, переплыв Море-Океан, кочевали у истоков Онон-реки, на Бурхан-халдуне, а потомком их был Бата-Чиган...»

— Понимаю твои опасения, — перевел Калгасэчэн. — Ты не хочешь, чтобы гнев подданных оборотился против тебя. Не бойся. Мы отберем десятую часть людей сами. Ты перед своими виноват не будешь.

— Что ты с косоглазым толки толкуешь, ба-тюшка?! — крикнул мальчишка. — Стены у нас

крепкие, воины храбрые, и гонец за подмогой в Радомир поскакал!

Его слова, как и прежде, шаман перевел Манулу совсем тихонько. Но князь вдруг ответил сыну что-то резкое на языке, который не был похож на русский.

— Догадался, старый черт, что я понимаю по-ихнему, — прошелестел Калга-сэчэн. — А этого наречия я не знаю. Похоже на франкский. Так говорят за Срединным морем Запада. Я слышал этот гнусавый язык в городе Иерусалиме, да выучить случая не было.

Военачальник, жрец, а за ними и княжич придвинулись к старому нойону и стали говорить ему всякий свое, но шепотом — шаман не мог разобрать ни слова.

Однако по выражению лиц, по движению рук и так было понятно. Воевода и мальчишка за то, чтобы биться, жрец — за переговоры. Старуха просто стояла и кудахтала, безо всякого смысла. Дочка хлопала глазами, на ресницах посверкивали слезинки.

Князь молчал, всех слушал, сам ничего не говорил. Лицо у него было несчастное, слабое. Сейчас сдастся, подумал Манул.

— Скажи, что подмоги не будет, — шепнул Калга-сэчэн.

— Если рассчитываете на помощь — зря, — сказал Манул. — Город обложен. Вашего гонца мы перехватили.

Шаман перевел, прибавив: «Да и нет на свете подмоги, которая могла бы вас спасти от монгольского войска».

Тут князь поднял руку. Невысоко и нерезко, но все разом умолкли.

Обратился он не к Манулу, а к Калга-сэчэну, глядя ему прямо в глаза. Догадался, значит, кто на самом деле главный.

— Мне Господь людей доверил. Как я их отдам? Они не мои, они Божьи. Хотите силой взять — берите. Как Бог рассудит, Его воля. А я против своей души не пойду. Тело погубить — полбеда. Душу погубить — вот настоящая беда.

Шаман тоже сказал ему напрямую, без Манула:

— Умный человек знает: лучше лишиться части, чем всего.

— Части или чести? — спросил князь. — Не расслышал я.

Улыбнулся Калга-сэчэн, повторять не стал.

— Утром выйдешь на стену, увидишь все наше войско — еще не поздно будет одуматься. Выходи за ворота, снимай шапку, вставай на колени. Мой господин горяч, но меня слушает. Я не дам

сму вас убить. А начнешь воевать — ничего сделать не смогу. Ответишь перед моим господином по всей строгости.

— Я не перед твоим господином, я перед Богом отвечаю, — тихо сказал рус. — Ступайте. Поговорили.

Уже за городскими воротами, под сыплющимся в лицо мелким снегом, Калга-сэчэн грустно молвил:

— Хороший князь. Погибнет, жалко. Хороших князей на свете мало.

— Может, завтра передумает, когда увидит, сколько нас, — беспечно ответил Манул, радуясь жизни, свободе, а больше всего — простору, особенно сладостному после тесноты деревянного города. — К нашей тысяче, поди, еще подкрепления подойдут.

«Мы опять разошлись с Эрлэгом, — шепнул он Звездехуе. — Надолго ли, нет ли, поглядим завтра».



A decorative flourish consisting of several overlapping, flowing black lines that form a central frame around the text.

НА СЪБЛЮ



Вставку к Гэрэл-нойону вернулись за полночь. Об ответе русского князя рассказал Калга-сэчэн. Манул остался у порога юрты, ждал, не спросит ли о чем тысячник. Беседы больших людей Манул почти не слышал — только отрывистые реплики Гэрэла, потому что шаман говорил очень тихо.

— Ха! Они отказались! — воскликнул царевич. И потом еще несколько раз повторил такое же, радостное.

Послушал еще — хлопнул в ладоши:

— Прикажу поднимать сотни. Ударим на рассвете.

Но Калга-сэчэн покачал головой, пошептал еще. Зачем-то показал через плечо на Манула.

— Хорошо, я его выслушаю. Эй, татарский кот, расскажи, много ли у русов воинов и хороши ли.

— На улице я видел около ста нукеров в кольчугах, с железными щитами, в крепких шлемах. Еще не меньше полусотни должны были оставаться на стенах. Нукеры высокие, сильные, биться будут стойко.

— Всего-то? — расстроился нойон. — А много ли в городе мужчин, способных драться?

У Манула был готов ответ и на это:

— Сотни три. Но у них только дубины да топоры.

— А ты говорил, попросить подмоги у Хутугнойона, — укорил Гэрэл шамана. — Не даст темник, только высмеет. Эх, жалко! Как придут осадные машины — выступаем.

Понятно, зачем царевичу хотелось подкреплений. Чтобы почувствовать себя настоящим полководцем. Чем больше воинов, тем крупнее сражение и тем громче слава.

— Еще там женщины... — продолжил Манул.

Нойон пренебрежительно махнул рукой, но Калга-сэчэн объяснил неопытному:

— Когда со стен льют горящее масло, неважно, кто это делает. Есть страны, где женщины

бьются наравне с мужчинами, как это делали тангутки. И есть страны, где женщины прячутся по домам, как было в Хорезмском царстве. Что ты думаешь о женщинах русов, десятник? Ты ведь не зря о них заговорил?

— Будут биться. У них широкие лбы, сильные плечи. И они не прячут глаз.

Царевич немного поразмыслил и довольно облизнул губы.

— Хутуг воевал с тангутами. Значит, поймет про сильных женщин. Крепость, в которой почти тысяча защитников, — это уже не очень маленькая крепость... — Благосклонно посмотрел на Манула. — Ты хорошо исполнил задание, татарский кот. Казенную шубу можешь оставить себе, в награду. Десятник — а ходишь, как последний богол.

Наградную шубу Манул сразу же выменял у другого десятника на китайскую попону. Она была легкая и тонкая, но очень теплая. У Звездухи с возрастом шерсть на крупе поредела, в крепкий мороз лошадь дрожала от холода.

Легли рядом, укрылись. Было хорошо, уютно.

В молодости Манул засыпал сразу. Теперь подолгу лежал, думал. Приятно, когда мысли начинают перемешиваться с мечтами и предсонными видениями.

Сегодня, из-за мороза и вьюги, привиделась жаркая страна Индия, куда Нижнеорхонский тумен ходил шестнадцать зим назад. Поход был тяжелый, пало много лошадей. Звездуха тоже заболела, укушенная ядовитой змеей, но, слава Тенгри, поправилась.

У индийцев Манулу понравилась их вера. Будто бы, умирая, человек попадает не в Небесные Пастбища или в черное царство Эрлэга, а вновь оказывается на земле, только переселяется в иное тело. Если прожил жизнь честно, возродишься с повышением — например, нойоном. А если был подл, вроде рябого Нохоя, то запросто можешь превратиться в паука или сколопендру. И очень возможно, что так оно всё после смерти и будет, потому что это справедливо. Вот бы Звездуха родилась женщиной, тогда можно было бы на ней жениться. Или самому родиться конем. Ускакали бы вдвоем от людей в зеленые степи, и никто им был бы не нужен.

От смешной мечты Манул улыбнулся, прижался щекой к горячей лошадиной шее и скоро уснул.

* * *

Часа три всего поспали. Потом, задолго до зари, прибыл обоз с китайскими машинами, и тысяча поднялась.

Уже в тусклых рассветных сумерках, вблизи от реки и города, догнала подмога — еще две тысячи всадников.

Гэрэл-нойон сидел в седле под своим белохвостым бунчуком, гордо подбоченившись. Двух тысячников, назначенных во временное подчинение, приветствовал по-дружески, но в то же время дал понять: командует здесь он и он — царевич. Проехал вдоль длинной колонны чужих воинов, здороваясь. Его молодой, звонкий голос, полный радости и силы, далеко разносился по степи. Нукеры оглушительно орали в ответ.

Хороший получится полководец, когда повзрослеет, думал Манул. Если только будет слушать Калга-сэчэна.

Шаман на своем понуром мерине все время ехал за царевичем, не отставал.

К полудню окружили город со всех сторон. Чтоб не делиться славой, Гэрэл поставил чужие тысячи в оцепление, а свою расположил

у реки, под обрывом — там, откуда начнется приступ.

Приготовления к штурму Манул видел много раз. Всё было привычное, понятное без объяснений. Сердце в предчувствии опасности стучало быстрее обычного, но не так бешено, как в молодости. Десятник всё больше поглядывал вверх, на низкие облака: выглянет из-за них хмурая рожа Эрлэга или нет. Бога смерти было не видно, но это еще ничего не значило. Проклятый убийца любит выскочить неожиданно, без предупреждения. Сегодня уж он своего не упустит. Его день. Коли русы не открыли ворот, увидев черное от воинов поле и осадные орудия, значит, битвы не избежать. Такова воля Тенгри.

Пока что распоряжался инженер-китаец, хорошо знавший свою работу. Четыре стенобитных камнемета уже стояли на кромке берега, собранные и готовые к бою. Булгарские пехотинцы из конвоя подгоняли захваченных в селе русов — те катили снизу, от реки большие камни.

Гэрэл велел пригнать к городу всех жителей села, кроме маленьких детей. Каждый принес на себе по большому мешку шерсти, ее в амбарах было очень много. Зачем мешки — ясно: будут кидать в ров.

Все работали сноровисто, но без суеты. Торопиться было некуда. Раньше темноты дело не начнется. Зачем подставляться под прицельную стрельбу городских лучников?

С последним отсветом дня машины метнули несколько камней, чтобы рассчитать правильную дистанцию. Раз попав в цель, останавливались. Теперь можно будет стрелять и в темноте.

Лишь свет померк, пошла потеха. Видно не было, но зато как было слышно!

Скрипели и ухали катапульты, свистел рассекаемый воздух, издали доносился хруст, будто там трещали и ломались чьи-то кости.

Так продолжалось час или полтора.

Потом — Манул стоял близко — инженер подошел к группе всадников, над которой чернел бунчук с двумя хвостами, и что-то доложил.

Трижды ударил барабан. Дааа! Дааа! Дааа!

— Огненными, ребята! — крикнул своим Манул, выезжая в поле. — Смотрите, куда попадет моя, и бейте так же!

Один из двух колчанов у воинов сегодня был наполнен огненными стрелами. Наконечник у таких обмотан просмоленной тряпичей. Она горит долго, погасить ее трудно. На расстоянии выстрела от стены Манул остановился. Щелкнул кресалом, запалил. Поднял лук почти верти-

кально, натянул тетиву до предела. Алая точка прорисовала в небе неторопливую ровную дугу, попала куда следовало. И сразу черный воздух наполнился сотнями точно таких же красных искр. Некоторые не долетали — падали в снег, гасли. Иные перелетали в город. Но большинство попадали в деревянную стену. Верней, в то, что от нее осталось.

Поленницы дров выгорели еще в прошлую ночь, когда русы ждали нападения, но света хватило и от горящих стрел. Скоро в темноте проступил багровый силуэт города, и стало видно, что осадные орудия поработали на славу. В стене зияла широкая брешь, обломки бревен торчали из нее, словно прутья.

Опять зазвучал барабан. Теперь он бил размеренно и нечасто, но уже не умолкая. Да! Да! Да! Да!

Это был сигнал к началу штурма.

Манул перекинул ногу через седло, достал кус вяленого мяса, стал жевать. Время нукеров еще не наступило.

Булгарская пешая сотня погнала вперед крестьян. Из-за навьюченных мешков с шерстью те казались в темноте головастиками. Булгары покрикивали, раздавали направо и налево удары древками копий. Бабы жалобно вскрикивали.

Всё это Манул тоже видел множество раз. Интересно было лишь одно: станут русы стрелять по своим или нет.

Не стали.

Вот темный ком толпы выкатился к самой стене, на освещенное место, а стрелы так и не полетели. Русы мягки волей, это хорошо. В бою имеет значение только урон врагу, а кто жалостлив — тот слабак. Кажется, бой будет недолгим.

Добежав до рва, крестьяне сбрасывали в него шерсть и разбегались кто куда. Булгары их не преследовали. Все равно дальше оцепления не убегут.

Теперь настала очередь самих булгар. Вояки они неважные, но и задача у них нетрудная: отвлечь защитников на те две минуты, которые понадобятся монгольским воинам, чтобы добраться до стен.

Барабан загудел требовательно и быстро.
Да-да-да-да-да-да!

Пора.

Выпрямившись в седле, Манул крикнул:

— Вперед, ребята!

Сейчас нужно вскачь подлететь к самой стене и там спешиться. Умных лошадей можно не стреноживать, они привычные. Побегут за Звездой, будут ждать хозяев вдали от боя.

Сотни одна за другой уходили во тьму, будто ныряли в воду. Вынырнут на освещенном месте, в двух десятках шагов от рва.

Манул несли не в самом первом ряду, дураков нет, но и не в гуще, где тесно. Держался прямо за спиной у сотника Ухты. Тот всегда лез в бой очертя голову. Есть такие люди, которые любят дразнить Эрлэга. Они или быстро умирают, или становятся героями. Ухте всего двадцать два года, а он уже сотник, и многие называют его «Ухта-багатур».

Вдруг Ухта исчез. Словно сгинул. Манул не успел удивиться, потому что провалился сквозь землю. В самом прямом смысле.

В снегу зияла невесть как образовавшаяся дыра, и они с Звездухой туда рухнули.

Лошадь пронзительно вскрикнула. Манул отлетел в сторону, ударился спиной и боком о твердую мерзлую стенку. Это его и спасло — что отлетел. Сверху в яму посыпались люди и лошади, они раздавили бы Манула.

Это был еще один ров, потайной! Прикрытый досками и дерном, он выдержал пеших, но проломился под конными!

Ни при одной из многочисленных осад Манул с такой хитрой предосторожностью не сталкивался. Проклятые русы!

Всадники в ловушку больше не падали, задние успели придержать коней, однако приступ, по-видимому, захлебнулся. Отовсюду неслись растерянные крики. Кто-то вопил «вперед!», кто-то «куда вперед?», кто-то призывал повернуть обратно, кто-то орал от боли. Воздух наполнился свистом стрел, и многие из них, видимо, достигали цели.

Но Манулу сейчас не было дела ни до приступа, ни до гибнущих нукеров. Он смотрел, как бьется в судорогах Звездуха. Из ее шеи торчало мокрое острие деревянного кола. Другое пронзило бедняжке бок. Кобыла хрипела от невыносимой боли, вытаращенный от муки глаз смотрел на хозяина, и в нем читалась мольба.

Не выполнить ее было нельзя. Манул выдернул из ножен саблю и перерубил страдальце горло, а потом ударил еще раз — отсек всю голову, чтобы смерть наступила сразу.

В земляную стенку ударила струя крови. Непроизвольно Манул подставил ладонь, будто хотел исправить то, что уже не исправишь, и ладонь обожгло горячей влагой.

— Что делать, Манул-мэргэн? — спросил кто-то из темноты.

Другой голос сказал:

— Манул-мэргэн, у меня сломана рука, но левая. Я могу держать саблю.

Лишь теперь Манул увидел, что во рву есть живые люди, и немало. Лошади погибли все — кто угодил на колья, кто сломал себе хребет, но всадники по большей части уцелели.

Что делать, Манулу было ясно. Поскорей схватить за бороду Эрлэга. Чтобы догнать дух Звездухи, пока не отлетел слишком далеко.

— Вылезаем! — крикнул десятник и полез из ямы первым.

У него получилось быстрее, чем у остальных. Другие воины были в чешуйчатых кюяках или в доспехах из грубой воловьей кожи, в обшитых железом бычьих шлемах, а Манул, когда намечалась пешая рубка, предпочитал обходиться без доспехов. Латы и кольчуги хороши, если идешь под стрелы, а в ночном бою на городских улицах важнее всего подвижность и увертливость.

Вылез, огляделся. Увидел: дела плохи. Среди смешавшихся воинов — конных, пеших — метался Гэрэл-нойон, кричал сорванным голосом. Рядом был Калга-сэчэн и что-то говорил царевичу, но тот не слушал. Сотни не шли вперед, не отступали назад, то есть случилось самое скверное, что только может произойти с войском: замешательство.

С другой стороны рва, у стен, было еще хуже. Булгары, ринувшиеся было в брешь, почти все



погибли. Защитники добивали последних. Сам-то ров был закидан мешками до краев, но со стены вниз летели факела, и шерсть уже всю горела. Там, в черном дыму, в алом пламени, отчетливо промелькнула глумливая физиономия Эрлэга. К нему Манул и кинулся.

Жилистый, кривоногий, согнутый, как тугое древко лука, десятник бежал прямо в огонь, шепча: «Вот он я, бери!»

Сзади донесся крик Гэрэл-нойона:

— За ним! За татарским котом! Спешиться и в ров! Вперед!

Верхние, пылающие мешки Манул скинул. По тем, что внизу, идти было можно. С хищным шелестом в шерсть, около самой ступни, вонзилась стрела. По плечу, едва задев, чиркнула еще одна.

Но бог смерти не торопился брать к себе Манула. Эрлэг отступил в самую брешь и манил оттуда.

Что ж, в брешь так в брешь.

Перескакивая через бревна, Манул пробежал через пролом. Навстречу кинулись два руса — воин в доспехах и мужик в белой перепоясанной рубахе. Не раздумывая, не рассчитывая движений, а просто повинувшись навыку и чутью, десятник увернулся от топора, отбил удар меча.

Скользящим ударом рубанул неловкого горожанина по голове. С воином пришлось немного повозиться. Тот был обучен клинковому бою и хоть отступал, но под саблю не подставлялся. Тогда Манул применил китайский прием, безотказный. Упал на землю и, изогнувшись по-змеиному, подсек русу щиколотку, а когда тот рухнул, добил прямым ударом.

В пролом сзади уже лезли монгольские нукеры, где-то там мелькал белый лисий малахай Гэрэл-нойона, но Манулу хотелось не драться среди своих, а поскорее погибнуть.

Эрлэг издевался над ним — отбежал на городскую улицу, корчил рожи из-за спин русов.

— Ах, вот ты как?! — рассвирепел Манул. — Думаешь, отступлюсь?

Десятник побежал вперед. Желание умереть не означало, что он собирается отдать русам свою жизнь задарма. Нет уж, всё будет честно.

Манул бросался туда, где островерхие шлемы и белые рубахи были гуще, но, ввязавшись в драку, бился без дураков.

Русы были храбры, но неопытны. Даже по воинам чувствовалось, что в настоящей схватке они никогда не бывали, а уж горожане и вовсе ни на что не годились — только саблю о них тупить. Несколько раз на пути у прорубавшегося

вперед десятника возникали и женщины — с топором, с вилами, одна даже с копьем. Манул расправлялся с каждой двумя короткими движениями: первым отбивал неуклюжий удар, вторым рассекал мягкое тело. Задержки от таких столкновений не происходило.

На улице было светло, как на заре. Монгольские стрелы, перелетевшие через стену, запалили крыши домов, там и сям поверху металась языки пламени.

Эрлэгу надоело играть в прятки. Манул вновь увидел его среди сомкнутых щитов: небольшая группа русских воинов пятилась к площади. Их вел за собой какой-то военачальник. Манул подумал — тот самый воевода. Но воевода был высокий и статный, а этот, в блестящем шлеме и алом плаще, едва доставал дружинникам до плеча.

Старый князь — вот кто это был. А воевода, должно быть, сложил голову в сече у пролома.

Хоть Манул и думал сейчас только о смерти, но привычка войны подсказала: нельзя допустить, чтобы русский нойон с воинами отступили в деревянный дворец и заперли за собой ворота. Осадные орудия в город не затащить, а значит, придется лезть на бревенчатый частокол. Бой затянется неизвестно насколько, погибнет много монгольских воинов.

— Эй, сюда! — крикнул Манул, подзывая своих. — За мной! Быстрее!

Русы уже допятились до ворот, заполнили неширокий двор.

Десятник заколебался. Можно было ринуться вперед, на копья, прямо в объятия Эрлэгу, тут уж бог смерти от встречи не отвертится. А можно было поступить, как предписывал долг, — помочь победе.

Уходить из жизни по-жюльнически Манул посоветился. Еще неизвестно, попадет ли воин, пренебрегший своим долгом, на Небесные Пастбища.

Поэтому во двор Манул в одиночку не сунулся, а выдернул из-за спины лук, из колчана стрелу и быстро, навскид, пустил ее в старого князя.

Тот был в крепких латах, в шлеме с железной маской, прикрывавшей половину лица, но Манул умел сшибать стремительную ласточку на лету, а русский нойон стоял почти неподвижно. Меткая стрела вошла ему точно в глаз.

Воины закричали, кинулись поднимать упавшего. Произошла заминка, и нукеры успели через площадь добежать до ворот. Тут и обороне настал конец — всегда так бывает, когда падет военачальник. Русы уже не дрались, а пытались

спрятаться или убежать. Как будто это было возможно.

Во дворе, на высокой лестнице, в тесных переходах терема — десятник искал Эрлэга повсюду. Однако бог больше не появлялся. То ли в милость, то ли в наказание он решил сегодня оставить Манула в живых. Забирал всех подряд, направо и налево, одна сабля Манула подарила ему не меньше дюжины жизней, а десятника смерть не тронула.

Когда стало ясно, что умереть не удастся и придется жить дальше, с Манула словно хмель сошел.

Бой почти закончен. Город взят. Наступило время добычи.

Вот ведь не мила ему теперь была добыча. Зачем она? Раньше выменял бы на что-нибудь для Звездухи: ладный чепрак, уздечку хорошей кожи, новый потник под седло. Но Звездухи больше нет, а самому ему ничего не надо.

И всё же закон жизни таков: она продолжается до тех пор, пока не закончится. И требует своего. Прежде всего — соблюдения привычек и обыкновений, которые и есть жизнь.

Где находится парадная комната, в которой шли переговоры, Манул помнил. Туда и побежал.

Добрался до хорошего места первым, раньше других нукеров.

Вот куда, оказывается, унесли убитого князя. Он лежал на скамье, стрелу из глаза уже выдернули. Ни слуг, ни дружинников рядом не было — разбежались. Около покойника на коленях стояли толстая хатун, некрасивая девка в жемчужной сетке на белых волосах и невоспитанный юнец. Шаман в черной шапочке и длинном, тоже черном одеянии, наклонившись над мертвецом, за чем-то совал ему в сложенные на груди руки маленькую свечку.

Все разом обернулись.

Старого шамана Манул зарубил сразу, чтобы не успел наслать каких-нибудь злых чар. Старуху — потому что очень уж пронзительно завопила. Мальчишка вскочил, схватился за пояс (у него там висел тонкий и короткий меч в узорчатых ножнах) да и замер, весь побледнев. Этого десятник убивать не стал, а просто оглушил ударом кулака. Сзади в дверь уже сунулись другие нукеры, и Манул им крикнул:

— Здесь всё мое!

Но воины были из другой сотни, Манула не знали и не послушались. Один бросился сдирать с мертвого князя сафьяновые сапоги, другой схватил со стола самую нарядную книгу и давай

вертеть в руках — никогда не видел. Третий сорвал с обеспамятевшего княжича его похожий на игрушку меч.

Не драться же с ними?

Осталась Манулу одна девка. Она забилась в угол, закрыла голову руками.

Деловито оглядев княжну, десятник сдернул с ее волос жемчужную сетку. Под сеткой на лбу было точно такое же пятно, как у старого нойона, — видимо, все-таки родимое. Застывшие от ужаса глаза пялились на Манула. Он схватил тонкие запястья, оглядел пальцы — нет ли колец. Она зажмурилась, взвизгнула. Колец не было, и десятник девку оттолкнул.

— Не ори, — сказал он по-тюркски. — Никто тебя не тронет. Закон запрещает.

Это раньше, до Великой Ясы, после боя женщин насилывали. Теперь нельзя. Все пленные становятся собственностью хана. Строго говоря, вся захваченная добыча тоже. Но если нукер заберет себе пару мелочей, не отягощающих седельные сумки, это ничего.

Манул оглядел комнату — нет ли еще чего. Взял одну книгу, самую маленькую и легкую, с цветными рисунками. Потому что пришла в голову одна хорошая мысль.

* * *

Вдали мерно, сдвоенными ударами (на-зад! на-зад! на-зад!) созывал воинов барабан.

Город взят. В темноте шастать по улицам и домам нечего. Пускай жители и уцелевшие дружинники прячутся. Все равно никуда не денутся.

Утром, как положено, главный юртчи со своими сборщиками всюду пройдут, во всякую щель заглянут и соберут всё ценное, а людей сгонят в одно место, на сортировку.

Манул шел по горячей улице. Вокруг возбужденно орали и гоготали нукеры — радовались победе и тому, что остались живы. Это всегда так после удачного боя, а неудачных боев у монгольской армии не бывает. Плакал один только Манул. И оттого, что все вокруг ликовали, чувствовал себя совсем-совсем одиноким. А каким еще он мог себя чувствовать? Теперь Манул остался на свете один. Ах, Эрлэг, Эрлэг, черная душа. Даже щадя караешь...

Теперь все будут жарить мясо, пить молочную водку и хвастаться своими подвигами. В поле люди главного юртчи, верно, уж развели костры и зарезали баранов.

А Манулу нужно было достойно похоронить Звездуху. Лучше всего — прямо во рву, где она погибла. Приставить к туловищу отсеченную голову. Укрыть попоной. Сделать щедрое подношение богу Тенгри, чтобы отвел лошадиной душе хороший луг, где она в довольстве дожидалась бы хозяина. Как бы Эрлэг ни кобенился, человека, который твердо решил умереть, надолго на свете не удержишь.

Вдруг Манул вздрогнул.

Плакал не он один. Впереди, там, где войска через пролом ворвались в город, кто-то тоже горестно выл. И никто в том месте не орал, никто не хохотал.

Что такое?

Плакал и причитал Гэрэл-нойон. Он сидел на корточках, размазывал по лицу слезы. Перед царевичем на земле лежал Калга-сэчэн. Из его груди, прямо из сердца, торчала стрела, но шаман был еще жив. Он слабо улыбался.

— Закрыл собой нойона, — рассказали воины. — Говорит, не выдергивайте стрелу, не то сразу помру. А так, говорит, успею с жизнью попроситься...

Стало Манулу совсем тоскливо. Он подошел близко, стал смотреть, как умирает хороший человек. Эх, лучше бы стрела попала в царевича!

Гэрэл-нойон говорил смертельно раненному:

— Я сам закрою твои глаза, учитель. Я велю насыпать над твоей могилой высокий-превысокий курган, как делают кипчаки.

— Не надо ждать... — Голос старика был едва слышен. — Я еще день проживу или даже два, пока кровь не застынет. А ты веди воинов к темнику Хутуг-нойону. Не теряй времени, царевич. Пока во всем войске один ты победитель. Скоро таких будет много... Пусть меня отнесут в юрту и поставят шест с черным значком. Хочу перед смертью привести душу в порядок. Один. Прощай, мой мальчик. Помни, чему я тебя учил...

И обессиленно закрыл глаза. Умолк.

С рыданием Гэрэл поднялся, крикнул:

— Поставьте на берегу реки мою юрту! Шкуру сюда, самую мягкую! И носильщиков!

Пока царевич грозил носильщикам, объяснял, что с ними сделает, если они неплавно понесут раненого, Манул улучил момент — попрощался с мудрецом.

— Вот. — Достал из-за пазухи книгу. — Хотел тебе подарить. Русские заклинания. Но тебе теперь не надо...

— А, Манул. Жив... — прошептал Калга-сэчэн и улыбнулся. Говорить ему было трудно. — Это хорошо. Почему же. Не надо. Надо. Подложи

вместо. Подушки. А то голова. Низко.

Так Манул и сделал. Наклонившись к самому уху шамана, сказал главное — то, для чего взял подарок. Хоть Калга-сэчэн и помрет, но так еще лучше выйдет.

— Когда переплывешь через черную реку, гуай, посмотри, нет ли там моей лошади. Помнишь ее? Не перепутай. У нее звездочка вот здесь. И звать ее Звездуха, она на имя откликнется. Увидишь — скажи, пусть меня подождет. Я скоро.

Но глаза шамана были закрыты. Он, кажется, уже ничего не слышал.



A decorative flourish consisting of several curved lines that form a frame around the text. It starts with two short horizontal lines at the top, followed by two large, sweeping curves that meet at the bottom, and a central horizontal line that loops back to the sides.

ВЕРНУЛАСЬ?



На грязно-белом, затоптанном поле между рекой и городом двумя черными линиями были выстроены пленные русы. Одна шеренга лицом к реке, другая — к городу.

Напротив стояли готовые к походу поредевшие сотни. Нукеры сидели в седлах хмурые и злые. Ночное веселье обернулось утренним похмельем. Многие товарищи легли в братскую могилу — тот самый проклятый ров, теперь засыпанный землей.

Гэрэл-нойон уже объявил, что все жители злого города, за исключением немногих, нужных казне, будут умерщвлены. Горожане пока не знали, что почти все они сейчас умрут, но чувствовали в зловещем молчании желтолицых всадни-

ков страшное и испуганно жались друг к другу. Строй, однако, покидать было нельзя. Кто попытался, лежали на снегу, пронзенные стрелами.

Прислужники главного юртчи, ведавшего сбором добычи, уже разделили всё, вынесенное из домов и отнятое у жителей, на кучи. Серебро, хорошие ткани, красивую посуду отдельно; оружие отдельно; железные вещи отдельно. Теперь оставалось отобрать русов, которые пойдут в полон. Ждали тысячника — он скажет, сколько рабов ему угодно забрать себе и пожаловать отличившимся при штурме.

Но царевич всё не выходил из белой юрты, поставленной на дне неглубокой балки, — чтобы меньше донимал ледяной ветер. Над юртой торчал шест с черной тряпкой — знаком того, что внутри находится умирающий, который хочет уединения.

Наконец Гэрэл вышел, утирая рукавом слезы.

Манул стоял неподалеку и слышал, как тысячник разговаривал с помощниками.

Отвечая на вопрос, сказал:

— Нет, еще жив. Но велел не ждать. Выступаем прямо сейчас. Посчитали потери?

Ему назвали цифру, которой Манул не слышал. Цифра наверняка была большая. У него в сотне выбыло две трети воинов, в том числе

храбрый Ухта-багатур. Правда, сотня шла в атаку первой и потеряла много людей во рву с кольями.

— Проклятый город! — воскликнул Гэрэл. — Чего вы ждете? Отберите для ставки нужных ремесленников. Сотникам дайте кому что положено по Ясе, а мне из этого змеинового гнезда никого не нужно. Всех остальных убейте! Дайте убежать двоим или троим. Пускай остальные русы узнают, как монголы поступают с непокорными.

Его опять о чем-то спросили.

— Оставлю здесь сотню убитого Ухты, все равно от нее теперь мало проку. Она всё и делает.

Здесь нойон посмотрел вокруг, словно кого-то выглядывая, и вдруг показал пальцем на Манула.

— Эй ты, ко мне!

Раньше Манул забеспокоился бы — вдруг в чем провинился, но теперь ему было все равно. Когда из жизни уходит радость, вместе с ней уходит страх.

Подъехал, спешился, преклонил колени.

— Ты молодец, — сказал царевич. — Первым бросился в пролом. Назначаю тебя сотником вместо Ухты.

Манул не поверил ушам. Неужто нойон забыл, что татарину путь в сотники заказан?

Нет, не забыл.

— За тебя, татарский кот, просил Калга-сэчэн. Его благодари. И похороны как следует. Если вернусь и увижу, что курган мал, — пеняй на себя.

— Я остаюсь здесь, гуай? — изумленно спросил Манул. Воистину сегодня был удивительный день. — А как же война?

— От твоей сотни все равно мало что осталось, а за здешними краями нужен пригляд. Этих псов, — царевич кивнул на горожан, — всех убей. Город сожги. Мою юрту, как похоронишь учителя, тоже сожги — пусть отправляется с ним на тот свет. К осени, к новому походу, набери и обучи мне полную сотню. Поставишь здесь, на берегу, свой курень. Поднимешь бунчук. Ты теперь не десятник, а сотник. Со всеми правами сотника. Радуйся, татарин. Тебе повезло.

Гэрэл махнул рукой — барабан забил выступление. Через четверть часа на поле остались только пленные, юртчи с помощниками да сотня Манула — одно название, что сотня: тридцать два человека вместе с командиром.

Сотник! Полноправный, не временный!

Вот она какая, жизнь. Вот почему никогда нельзя от нее отречься. Только что всё отняла — и тут же щедро одарила.

Сотник — это не десятник. У сотника своя юрта и однохвостый бунчук, видный издалека. Сотнику положено два богола для услужения. И, главное, можно завести жену. Манул думал, что у него никогда не будет ни семьи, ни детей. А теперь — можно!

Второй подарок — что оставляют здесь. До следующей осени далеко, почти целый год. Тенгри всемогущий, как же надоели войны и походы! Просто пожить на одном месте, ни за кем не гоняясь, никого не убивая...

Тут же он вспомнил, что убить все-таки придется. Прямо сейчас и многих. Тысячу человек, если не больше.

Был бы рядом с царевичем Калга-сэчэн, обошлось бы без резни. Это в прежние времена к чужеземным народам относились, будто к диким зверям: окружить, переубивать, шкуры содрать. Теперь же, по новому закону, объявленному всем туменам, велено беречь завоеванные племена, как домашний скот: не забивать, дочиста не обирать, доить и стричь. Так оно и разумней, и выгодней.

Хотя нойона тоже можно понять. Очень уж он огорчился из-за шамана.

* * *

Своих немногочисленных всадников Манул расставил редкой цепью, приказав стрелять всякого руса, кто без позволения отделится от остальных.

Сам пристроился к юртчи, медленно шагавшему вдоль шеренги пленных. Переводчик-половец спрашивал, есть ли хорошие мастера, и какие. Спрашивал мирно, не грозно, чтоб не пугались.

Были плотники, печники, кровельщики — этих юртчи не брал. В степи они не нужны. Иное дело — кузнецы, скорняжники, ткачи. Их отводили в сторону — туда, где лежала добыча. Еще юртчи на свой страх и риск, хоть царевич и не велел, отобрал несколько особенно плечистых парней и самых красивых девок — какие потолще, помясистее и чтоб нос-глаза не слишком большие. Девки, дуры, как одна, закатили рев. Не понимали своего счастья.

Смотреть, как Эрлэг сортирует людей на живых и мертвых, было неприятно, но Манул увязался за юртчи не из праздного любопытства.

Ему теперь полагалось два раба, и одного хорошо бы взять нынче же. Конюха, чтоб ходил за

лошадьми, — сотнику самому неуместно. Да и не хотелось. Это было бы все равно что изменить Звездухе, зарытой в мерзлую землю.

По просьбе Манула переводчик спрашивал и про конюхов.

Один понравился. Пожилой, но крепкий, со смирным взглядом и весь пропахший конским потом, хорошим запахом. Служил при княжьей конюшне.

— Поди-ка туда, — показал Манул рабу туда, где стояли те, кому суждено жить.

Хотел вернуться к воинам и тут увидел знакомую беловолосую девку, у которой отобрал жемчужную сетку. Помощник юртчи тянул пленницу за руку, хотел отвести к красавицам, хоть княжья дочь была нехороша собой. Один Тенгри знает, чем она приглянулась юртчи. Может, белой кожей. Или редким цветом волос. Княжья дочь упиралась, не хотела разлучаться с братом — этот тоже был здесь. Распухшее от удара Манулова кулака ухо побагровело и торчало, будто лепешка.

Но княжьей дочерью девка была в прошлой жизни, а теперь стала просто рабыней. Помощник юртчи ударил ее нагайкой по спине и оттащил, куда положено.



А Манул уже прикидывал, как половчей исполнить поганую работу. Посчитал. После отсева зарезать придется около девятисот человек. Почти по тридцать голов на нукера, не шутка.

Ничего, не первый раз. Правила известны. Их не дураки придумывали.

Шестерых самых метких лучников Манул оставил в седле — стрелять тех, кто побежит.



Потом приказал воинам разделить пленных на группы по двадцать пять человек. Групп получилось тридцать шесть, последняя неполная.

Воинов за вычетом стрелков тоже было двадцать пять. Собрав их вокруг себя, Манул объяснил, как делается дело, — здесь были и новички, кто никогда городов не захватывал.

— Главное — быстрота. Каждый берет по одному.левой рукой обхватываешь голову, ладонью

прикрываешь глаза, чтобы ничего не видел. В правой нож. Рраз — и готово. Ударит струя крови, не замочитесь — вот так. Потом идем, забираем следующих.

Юртчи закончил свою работу. Можно было приступать.

Отогнали первую группу вниз, под обрыв — чтобы толпа не видела, как убивают, и не заметалась.

Нукеры спешили. Неопытным Манул велел брать маленьких детей — с ними совсем просто.

Сказал:

— Давайте!

Сам остался наверху — смотреть, как оно пойдет.

Бывалые воины справились быстро, зеленые — по-разному. У кого-то дрожали руки, кому-то досталась слишком брыкливая жертва, но этим помогли товарищи. В общем и целом для первого раза получилось неплохо.

— Идем за следующими, ребята, — велел Манул. — Работы много, а зимний день короток.

На спуске остались двадцать пять трупов, больших и маленьких, да красные пятна. Падаль пролежит здесь всю зиму, а весной, в половодье, река унесет мертвецов прочь.

Вторую группу отвели в другое место, поодаль. Управились еще быстрее, но Манул уже

отметил молодого нукера — низкорослого кипчака по имени Коротышка, который замешкался в прошлый раз и теперь опять не удержал пленника, хотя это был щуплый мальчишка лет семи. На беглеца пришлось потратить стрелу, а Коротышке сотник показал еще раз, как режут горло. Нукер кусал белые губы. С парнем надо было еще работать и работать.

Когда пошли за третьей группой, толпа уже знала, что происходит под берегом. Догадались. Потому что удравший мальчишка громко вопил, да и нукеры все-таки перемазались в крови.

Это всегда так бывает. Довольно скоро те, кого еще не убили, понимают, какая судьба им уготована. Но это мало что меняет. Люди, когда они согнаны в кучу, будто перестают быть людьми, превращаются в овец.

Казалось бы, кинься они сейчас врассыпную — и многие бы спаслись. Но нет. Пробуют убежать только самые смелые. Вон они, лежат, у каждого по стреле в спине. Человек десять таких набралось. Остальные прижались друг к другу. Шести всадников с луками вполне достаточно, чтобы удерживать толпу чуть не в тысячу человек.

Главный секрет — резать не на виду у остальных, а отводить подальше. Тогда все будет стоять и ждать. На что надеются? Загадка.

Одни плакали и обнимались, другие молились, а кто-то лег ничком на снег и заткнул уши. Манул подумал, что он, наверное, тоже так лег бы, попрощался с жизнью. Припомнил бы ей всё плохое. А потом встал бы и побежал. Умереть от стрелы лучше, чем от ножа. Хотя это, конечно, как кому.

Помощники юртчи надевали отобранным в рабство счастливым канги — деревянные колодки. Счастливые уже поняли, что они счастливые, и послушно подставляли шеи.

— Нагайками их, нагайками, — посоветовал Манул воинам, потому что третья группа шла к берегу медленно, упиралась. — А то до ночи не управимся.

И снова Коротышка оплошал. Ему достался тот самый юнец, княжий сын. Вроде и не сопротивлялся, стоял смиренно, стучал зубами, а нукер никак.

— Ты что, у себя в нутуге никогда баранов не резал? — терпеливо сказал Манул. — Человека резать проще. Не нужно бояться, что шкуру больше нужного попортишь. Смотри и учись.

Он подошел, зажал русу локтем лицо.

— Держишь вот так. И на себя, чтоб горло подставить. Ножом ведешь без усилия, легко, наискось...

Что-то зашуршало по снежному склону.

Прямо под ноги сотнику скатилась беловоло-
сая девка, обхватила его за гутулы, крикнула
по-тюрски:

— Не убивай брата!

Манул сначала ужасно удивился. Как это ей
удалось убежать и остаться живой? Но потом
увидел, что из шейной колодки сзади торчит
стрела, и понял: девке повезло, канга спасла.

— Не убивай его! — просила девка, глядя сни-
зу умоляющими глазами. — Рабой твоей буду!
Что хочешь сделаю! Богом клянусь!

Сотник хотел толкнуть ее кулаком в лоб, но
рука замерла на полпути.

На лбу у девки была круглая коричневая ро-
динка величиной с горошину. Это пятнышко
Манул заметил еще вчера, когда сорвал жемчуж-
ную сетку, но не придал значения. А сейчас вдруг
пронзило: точь-в-точь как звездочка у Звездухи!
И вспомнилась мечта перед боем, в котором по-
гибла лошадь. Про индийцев, которые верят в
переселение душ. Тамошние женщины рисуют
себе на лбу такие же круглые точки!

А что, если...

— Ты вернулась? — спросил он по-монгольски.
Звездуха бы поняла.

Но девка повторила по-тюрски:

— Я буду твоя душой и телом. Сколько живу. Только пощади брата.

И зачем-то ткнула себя двумя пальцами в лоб, в живот и потом в оба плеча.

Пусть даже и не Звезда, размышлял Манул. Девка некрасивая, но крепкая, молодая. И смелая. Не побоялась стрел. Взять, что ли, ее в жены? Жить здесь долго, до следующей осени. А там наверняка начнется новая война. Монголку в этом дальнем краю все равно не найти. Эта по крайней мере будет благодарна.

— Ладно, — сказал он на понятном ей языке. — Возьму тебя и его. Забирай своего брата. Веди его к начальнику обоза, скажи, сотник Манул велел снять с тебя кангу. Сидите там, ждите.

Теперь придется отказаться от конюха, отослать его назад, на смерть. Жалко. Но сотнику больше двух рабов не положено.



Часть вторая

МИР



A decorative flourish consisting of several curved lines that form a frame around the text. It includes two small horizontal lines at the top, a large loop on the left, a large loop on the right, and a complex, overlapping pattern at the bottom.

В ПРЕСПОДНЕЙ



Поп Микита когда-то учил на уроках Слова Божия, что Преисподня жаркая и огнепламенная, уязвляющая грешников искрами, обжигающая алыми угольями.

Неправда. Всё неправда.

В Преисподней нет ни жара, ни тепла. Ибо тепло — жизнь, а Преисподня — смерть. Она ледяная-снежная, и цвет ее — белый.

Эта истина, как многие другие, злые, впервые открылась Солонию, когда он стоял ни жив ни мертв и трясся — от холода, от ужаса, от воспоминания об овчинном запахе убийства, который, казалось, впечатался в лицо, смятое рукой татарского сатаны. Кривоногий, криворожий, с глазами-трещинками и еще одной длинной трещиной, рассекавшей харю сверху донизу, Сатана только

что собирался убить Солония, перерезать ему беззащитное, выпяченное вперед горло кровавым ножом. Потом что-то произошло — Солоний не видел и не слышал, он был не в себе — но только хваткие лапы его выпустили, и стало снова можно дышать, а потом Фи́ла, сестра, невесть откуда взявшаяся, потащила его куда-то вверх и что-то шептала, приговаривала, обнимала.

И вот он стоял на ветру, по-над обрывом, трясся, думал про белую Преисподнюю. Фи́ла подобрала с земли тулуп и шапку, одежды вокруг валялось много — некоторые люди, перед тем как их убивали, почему-то начинали все с себя срывать, — и надела на брата. Теплее ему не стало, и дрожать он не перестал, но будто бы вернулось зрение, или, вернее сказать, раздвинулось. Только что видел на полсажени вперед да на столько же в стороны, а дальше тьма, теперь же узрел все окружное: горящий Свиристель, воющую толпу, всадников в острых малахаях, снежное поле, реку.

Они с Фи́лой стояли сами по себе, вдвоем. Пообочь, возле телег, кучкой теснились люди с деревянными ступами на шее. Он узнал Ладоню-кузнеца и девку из матушкиной вышивальни, только имени не вспомнил. На поле поглядел — поскорей отвернулся. Там, вертясь в сед-

ле, распорядился Сатана, махал рукой, и его присные били плетками, гнали на убой новых агнцев.

— Я понял, Фила, — сказал Солоний чужим скрипучим голосом. — Мы все ночью убиты. Меня черт татарский еще тогда кончил, заодно с батюшкой, матушкой и отцом Микитой. И тебя тоже убили. Просто они в рай пошли, а у нас тут — ад, для грешных. Это мытарства, нам назначенные.

Сестра трянула его за плечи, прижалась губами к уху, зашептала:

— Очнись, Солоша. Не время! Пока не глядит никто, прыгай вниз, вываляйся в снегу и по бережку, по бережку. Спасайся, Солоша. Не то угонят со мною в полон — сгинешь. Беги!

Дыхание у нее было теплое, губы горячие, и от этого он будто оттаял. Если в ледяном аду есть что-то теплое и даже горячее, то есть и надежда. Так ему в тот миг помнилось.

Встрепенувшись, княжич обернулся, поглядел вниз. Скатиться по белому крутому склону легко. Побегать вдоль Крайны-реки, до излучины. Там Заячий овраг. Он длинный, по нему можно уйти чуть не до самой Кольшиной рощи. И всё, не сыщут.

«Бежим вместе!» — хотел он сказать Филе. Но посмотрел на нее — и не сказал. Филя тонкая, хрупкая, нет в ней никакой силы. Увязнет в снегу, ослабнет. Сама пропадет, и его задержит. И главное, даже если доберется с ним до березовой рощи — что потом? Куда с девкой по холоду? До Радомира тридцать верст. Не дойдет.

А всё же сказал:

— Бежим со мной. Как-нибудь Бог выручит.

Но она качнула головой:

— Нельзя. Я Ему поклялась: спасет тебя — останусь рабой татарской.

Солоний не очень понял, о чем она, но настаивать не стал.

— Я тоже клянусь, перед Господом. Вернусь. Сыщу тебя хоть на краю земли. И вызволю. А татарина, сатану косорылого, найду и за батюшку с матушкой отомщу! Убью!

— Беги, мститель, — сказала Филя. Коротко оглянулась и вдруг с неожиданной силой толкнула брата в грудь.

Он покатился по спуску. Вскочил, весь облепленный снегом, хотел махнуть ей на прощание рукой, но сестру было уже не видно.

Тогда пригнулся, побежал, бормоча «убью, убью, убью!».

...Два раза, уже в овраге, останавливался перевести дыхание, однако ненадолго. А упал, вконец обессиленный, уже в роще, среди голых деревьев. Это всё были березы, покрытые коркой льда и такие же белые, как пустое безжизненное поле. Очень скоро княжич замерз, и мир снова начал казаться ему Преисподней.

Благомысленные византийские мудрецы из батюшкиных книг писали, что Божий Мир — многоцветный сад, исполненный чудес и красот, но они не знали правды. Мир — ледяная пустыня, и в ней только три цвета: белый — мертвенного холода, красный — пролитой крови и черный — пепелища. А правит в сем аду щелеглазый Сатана с рассеченной наискось рожей. Она и сейчас нависала над закоченевшим беглецом.

Увидев татарина в самый первый раз, еще не зная, что это сам Всепогубитель, Солоний испытал странное омерзение, словно по голому хребту проползла скользкая змея. А ведь бес тогда был почти один, толмач не в счет. Раздавить бы его, и ничего бы не было. Эх, батюшка-батюшка. Мудр был, а Солоний глуп, но если б мудрец послушался глупца, глядишь, и спасся бы...

Второй раз Сатана явился княжичу во всей своей силе, окруженный багровыми сполохами. Солоний стоял у теремного окошка, смо-

трел на сечу у ворот княжьего подворья, сжимал кулаки.

Отец не дозволил идти в бой. Уж как Солоний упрашивал. Ведь не мальчик, семнадцать лет. Из самострела бьет метко и с мечом ловок, сам Матьяш-воевода говорит, что лучше ученика у него не бывало. Но батюшка сказал: «В доспехах биться не то, что налегке махать. Не сдюжишь».

А кто сам запрещал доспехи носить? «Кость у тебя еще тонкая. Коли рано начнешь железо на плечах таскать, не вырастешь. Останешься, как я — недомерком» — это кто повторял?

Отец был добрый, мягкий, но когда заговорит таким голосом, спорить с ним было нельзя. Остался Солоний в тереме. Батюшка на прощание обнял, наказал: «Мать, сестру на тебя оставляю. Защити». И ушел.

Через час или два, когда город стал весь светлый от множества пожаров, отец вернулся с малой ватагой дружинников. Тут-то княжич и увидел Сатану — узнал издали по волчьей повадке, по длинным рукам, по кривым ногам.

Татарин вскинул лук — и батюшка повалился. Солоний так страшно закричал, что мать с сестрой, без умолку плакавшие, враз умолкли.

А в третий раз Сатана явился, когда Микита над отцом читал заупокой. Страшней того, что то-

гда случилось, ничего нет и быть не может. Даже когда Сатана на берегу хотел горло резать, не так содрогательно было, из-за тупого оцепенения.

Однако именно воспоминание о бараньем запахе и грязном рукаве, сдавившем лицо, заставило княжича подняться и побрести дальше, через рощу. Не для того он спасся от татарского ножа, чтобы замерзнуть под голой березой. И клятвы перед Господом просто так не даются. Нужно поскорей добраться до Радомира, вернуться с дружиной и всё исполнить: Филу спасти, Сатану истребить.

О том, что поганые могли уже добраться и до Радомира, княжич думать не захотел.

Пройти надо было без малого тридцать верст, да не по дороге, а полем. Хорошо, наст здесь, на гладком просторе, был крепкий, обветренный, прогибался под шагами, но держал.

Солоний шел и плакал, всё не мог остановиться. Очень было себя жалко. Отца с матерью, сестру, всех погибших и плененных тоже, но больше всего себя. За то, что верил добрым и умным книгам, а они оказались ложью.

Слезы текли без остановки и были соленые. Под стать имени.

Батюшка, книжник, назвал своих детей по-ученому, не как в других княжеских семьях. Старшего сына — Тимоном, что означает «честь», ибо для наследника княжеского стола нет ничего важнее чести. Дочь нарек Филомоной, это «Сильная любовью». Для женщины, говорил отец, самое главное — любовь. Младшему сыну выбрал для крещения имя Солоний, «Мудрый». Было, конечно, как положено, и родовое имя, Олег, в честь великого пращура Олега Святославича, от кого все они, Ольговичи, произошли, но так младшего княжича никто не звал, только Солонием.

«Как сам себя зовешь, таким и станешь, — говорил отец. — И если проживешь честно под стать имени, то в старости получишь самую лучшую награду — мудрость. В молодые годы ей взяться рано, но на то есть мудрые книги. Не умствуй, а исполняй, что там написано. В зрелости поймешь». И заставлял учить наизусть слово князя Владимира Всеволодовича Мономаха, оставленное сыновьям: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседа, а побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать,

глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится».

Батюшка и сам учил своих сыновей не хуже Мономаха. Объяснял, что родиться князем — не удача, а великая тягота и суровое испытание. Обычный человек только за себя ответчик, так жить и спастись легко. А князь Богом поставлен своих людей оберегать, и этот его долг даже выше заботы о спасении собственной души.

В последнее время Солонию хотелось жить своим умом, обо всем иметь незаемное суждение, и он с отцом часто спорил — это поощрялось.

Осенью поймали шайку лютых разбойников, грабивших поречные деревни. Стали злодеям головы рубить. Солоний возьми и пристань к отцу с ехидством и укоризной. Как же, дескать, ты учил: «Будь с людьми милостив, награждай за дело щедро, а за вины взыскивай снисходительно», сам же вот головы рубишь? Ведь и в Новом Завете речено «не убий»? Отец ему со вздохом: «Государю по Новому Завету жить нельзя. Хотел я когда-то, но скоро понял — пустое мечта-

ние. Править можно только по Завету Ветхому, где око за око и зуб за зуб. Враг нагрянет — не щеку подставляй, а своих защищай. Злодеев казни, чтобы иным неповадно было. Мы не святые монахи, мы князья. Вся надежда, что Бог на Страшном суде простит нам вины, потому что грешили не за себя, а за люди своя. Если же ты боишься Его кары — уходи со стола. Иди в монастырь, спасай свою душу».

Ах, батюшка, батюшка. Про небесные светила рассказывал, про чужие страны, про разные чудеса. Языкам учил — тюркскому и греческому. У матери для детей был свой язык, франкский — говорить о домашнем, о ласковом.

Ничего этого больше никогда не будет.

До Радомира бы добрести, думал Солоний, еле волоча ноги и сгибаясь под серой во тьме вьюгой. Старший брат отделился два года назад, правил собственным уделом. Там, у Тимона, спасение.

* * *

По дороге, в десяти верстах от Радомира, была одна деревня, Конобеево. Туда-то татары скорее всего уже нагрянули, однако Солоний все

же решил попытать счастья. Очень уж хотелось обогреться и поесть.

Долго таился у околицы, высматривал. Вроде тихо, а что огни не горят, так крестьяне зимой рано ложатся. Главное, дома чернели во мгле целые, не пожженные.

Ободренный, он вышел на дорогу и увидел, что она вся истоптана копытами.

Побывали...

Избы стояли пустые, с распахнутыми дверями. На улице — несколько мертвых тел, зарубленные собаки, обкромсанная до скелета корова.

Ни одной живой души. Сбежали? Угнаны в полон? Бог весть.

Попробовал поискать в ближнем доме еду. Зажег лучину.

Нашел только горшок с недоеденной кашей. Она была заиндевшая, к грязной ложке прилип седой волос. Побрезговал. До Радомира не столь далеко, можно дотерпеть.

Обогреться бы только.

В избе была печь, было огниво и кресало, были дрова, но растопить огонь Солоний не сумел, сколько ни бился. Искры высекались, трут зажигался, и даже хворост вспыхивал, но скоро гас. Чертова печь не слушалась. В преж-

ней жизни никто не учил княжеского сына, как их топят.

Разжег во дворе костер, попросту. Оттаял, сморило.

Но среди ночи пробудился от лютого холода. Лязгая зубами, вскочил, попрыгал, поколотил себя руками, пошел дальше.

Эти последние десять верст, в кромешной темноте, под вьюгой, дались еще тяжелее, чем давешние двадцать.

Хуже всего, что заблудился. Казалось бы, путь знакомый, сто раз езженный — и по дороге, и напрямую через поля, а Радомир словно играл в прятки. Не чернел башнями, не светил огнями.

Лишь когда засизел поздний зимний рассвет, Солоний понял, что все время бродил неподалеку.

Город был прямо перед ним, всего в полуверсте. Башни не чернели, потому что их больше не было — обрушились. Не было и домов, дымилась одни развалины. Огня не было. Должно быть, угли присыпала, загасила ночная метель.

Отупевший от холода и усталости, Солоний долго бродил по пепелищу, среди трупов. Снова обливался слезами. Не мертвых оплакивал, к их

виду он уже привык, а прощался с жизнью. Деваться теперь было совсем некуда.

Бой в Радомире, кажется, был недолгим. Наверное, татары застали город врасплох. Пронеслись по главной улице — там лежали мертвецы, все ничком, с разрубленными затылками; возле терема произошла схватка: здесь разметались несколько братниных дружинников, все знакомые. Ни кольчуг, ни шлемов, ни оружия. Один, безголовый, раздет почти догола.

Вдруг Солоний увидел у нагого мертвеца круглую родинку на груди и зарыдал пуще прежнего. У Филы была такая же, но на лбу — как у батюшки, у Солония на плече, а у Тимона на груди.

Имя — оно как судьба. Тимон значит «честь», вот брат с честью и погиб. Похоронить его тоже нужно было честно. Чтоб вóроны не клевали бедное обезображенное тело.

Долбить мерзлую землю сил не было. Солоний взял мертвого брата за ноги, дотащил до развалин конюшни. Сама она сгорела, но подклет, где хранили овес, никуда не делся, хоть мешков с зерном там уже не было. Скинув покойника вниз, княжич завалил ход обломками. Лежи, Тимон, в темной пустоте. Хоть без гроба, зато в просторе и покое. А больше ничего сделать было нельзя, только что прочесть молитву да поплакать.



...Смерть смертью, а жизнь жизнью. Невыносимо хотелось есть. О давешней несъеденной каше вспоминалось как о сладчайшем из яств. Не то что с волосом — с земли бы ее съел, по-собачьи.

А искать еду было негде. Радомир превратился в черное ничто — как только татаре сумели дотла спалить немалый город, три сотни домов, да амбары, да улицы с лавками всего за день? Не иначе сам Дьявол изрыгнул из пасти всеожигающее пламя.

Подобрал голубя, видно задохнувшегося в дыму, упавшего на угли и полузапекшегося. Ощипал, жадно съел, заел снегом — едва нашел чистый, без сажи и пятен крови.

Еще отыскал в сугробе целый меч — грубый, тяжелый. Должно быть, принадлежал кому-то из младшей дружины. Но повесив на бок оружие, Солоний будто стал выше ростом, шире в плечах. Уже не хвост овечий — воин.

Мертвых голубей было много. Взял еще несколько, сложил в рогожную котомку, немножко обгоревшую, но целую. А больше на пожарище в дорогу взять было нечего.

В дорогу-то в дорогу, но куда податься?

Думал, пока шел до перекрестка, что чуть западнее Радомира. Благодаря тому перекрестку когда-то и город построился. Отсюда можно

было пойти на юг, в Чернигов, или на север, в Рязань, или на закат, к дальнему Смоленску.

Следы множества копыт и повозок вели направо, к Рязани. Татары повернули туда. «Иди в другую сторону, на Чернигов», — шепнуло сжавшееся сердце. Но Солоний положил пальцы на деревянную рукоять, сдвинул брови и пошел на север.

Клятва есть клятва. За родителей, за брата надо было мстить. Рязань поганые так просто не возьмут. Это им не Свиристель. Стены высокие, саженой ширины, а дружина у князя Гюргия Игоревича могучая: три тысячи пеших, до семисот конных. Сам князь рязанский Солонию троюродный дядя. Коня, щит, шлем даст, а больше ничего и не нужно. Меч вон свой есть.

* * *

Шел Солоний с умом, стерегся. Не по дороге, а вдоль. Если поле — уходил далеко. Если лес — держался рядом.

Иначе было нельзя. То вперед, то назад, всегда быстрым наметом, по двое, по трое, а то и в одиночку часто проносились всадники на маленьких косматых лошадях. Верно, гонцы. Жалко, не было самострела, а то какого-нибудь одинокого вынул бы из седла. На радомирском пепелище Солоний

видел несколько целых луков, а стрел вокруг торчало сколько угодно, но брать не стал. По юным годам стрелять его учили только из княжеского оружия, немецкого арбалета. Натянуть руками тетиву русского лука — это немалая сила нужна.

Два раза заночевал в пустых деревнях. Жителей нигде не было. Вся Русь словно вымерла, на холодной земле остались одни татары да неприкаянный Солоний. Как есть — ад, Преисподняя...

Научился отыскивать в домах еду. Оказывается, в клетушках висели вязки осенних грибов, стояли малые короба с сушеной ягодой. Справился и с печью, так что спал в тепле. Правда, на вторую ночь, перед рассветом, пришлось прыгнуть в окно. Слава Христу, дремал некрепко, услышал конское ржание, гортанную речь. Двое татар спешили, шли к крыльцу с саблями наголо. Наверно, заметили дым.

Ничего, отсиделся в снегу, за плетнем. Потом вернулся за тулупом и шапкой. То ли не заметили поганые, то ли им лень было гоняться в потемках. Пронес Господь.

А на третий день Солоний наконец встретил в придорожном лесу живого русского человека. Тот шел навстречу по тропинке, вел в поводу коня. Сам в островерхом шлеме, кольчуге, на боку меч — не иначе княжий или боярский дружинник.

Солоний к нему так и кинулся.

— Ты откуда, чей?

— Из Рязани, — ответил рослый, светлородый молодец, настороженно глядя на незнакомца. — Князя Гюргия Игоревича дружинник.

— То мой дядя!

— Ага, — оскалился воин, видя, что Солоний один, и оттого успокоившись. Не поверил. Оно и понятно — хорош княжий племянник в нагольном тулупе, с рогожным мешком и безножным мечом за поясом.

— Я княжич свиристельский, Богом клянусь! — Вспомнив, что ни отца, ни старшего брата уж нет в живых, Солоний печально поправился: — То есть теперь уже князь...

— Ну да. — Дружинник хмыкнул. — Куда твоя княжья милость путь держит?

— Туда же, куда и ты, я думаю. В Рязань. Татар бить. — Вдруг Солоний сообразил, что воин идет не на север, а наоборот, на юг. — Ты ведь в Рязань?

— Неее, — протянул бородач, глядя не на княжича, а на его шапку. — В Рязани дураки остались. А я умный.

— Как так?

— Нету боле Рязани, парень. Я в дозоре был. Как поглядел на татарскую рать, увидел, что всё поле черно, сразу в седло и давай бог ноги. А все, кто в городе остался, ныне воронов кормят.

— И князь?! — ахнул Солоний.

— Все, с мала до велика. Была Рязань, да вся вышла.

Княжич закрыл лицо руками. Господи, что же это? Не может быть... Ведь то сама Рязань!
РЯЗАНЫ!

Вдруг голове сделалось холодно. Это рязанец сдернул с Солония шапку.

— Ты что?!

— И тулуп сымай. Зябко мне в кольчуге. Сымай, сымай, князь свиристельский. Недосуг мне с тобой свиристеть. Не то вот. — Крепкая рука угрожающе коснулась меча.

— Ах ты собака! — вскричал Солоний, пятясь. — От князя своего сбежал, так еще и грабить?!

Он выдернул из-за пояса меч, продолжая отступать, потому что дружинник не испугался, а только ухмыльнулся и продолжал напирать. Меч он не вынул.

— Не лезь. Я венгерской рубке обучен! — предупредил Солоний.

Рука дрожала, тяжелый клинок ходил ходуном.

— Ишь какой. И вправду князь. Ну, руби меня по-венгерски, коли ты такой страшный.

Рязанец покаянно опустил голову.

Княжич попросил:

— Иди своей дорогой. Шапку только отдай...

Внезапно детина, не распрямляясь, по-бычьи, ринулся вперед и острой верхушкой шлема ударил в грудь. Солоний опрокинулся навзничь, вскрикнув от боли.

Но главная мука была впереди. Дружинник долго бил его ногами — по ребрам, бедрам, по голове. Меч отобрал, осмотрел — швырнул в сторону. Тулуп содрал.

— Сапоги добрые, — пробормотал. — И впрямь будто княжеские...

— Я и есть князь! Не смей!

— Был князь, а стал грязь.

Чтоб Солоний не брыкался, гад пнул его носком в пах, уперся и стянул с ослепшего от боли юноши сафьяновые, на меху сапоги.

Напоследок, уже повернувшись уходить, да будто вспомнив, двинул с размаху каблуком в висок.

И Солония не стало.



A decorative flourish consisting of several overlapping loops and curves, framing the text. At the top, there are two horizontal curved lines.

**КАК СЕДЛАЮТ
МОЛОДЫХ КОБЫЛЦ**



Последних жителей уставшие, вымазанные в крови воины убивали уже в сумерках. А работа еще не закончилась. Приказ есть приказ. Нойон велел сегодня же спалить проклятый город с непроизносимым названием.

Крепостные стены и постройки, не сгоревшие во время пожара, опрыскали китайской горючей водой «Слюна Дракона». Одной капли довольно, чтобы сжечь целый дом — если никто не тушит. А тушить деревянный город было некому. Люди, населявшие его, либо погибли во время штурма, либо были зарезаны в поле. Малая часть, полсотни счастливцев, поплелись, связанные одной веревкой, с колодками на шее, вслед за обозом с добычей.

В полночь Манул стоял один подле юрты, в которой под черным значком умирал, а может быть, уже умер старый шаман, и глядел на костер шириной в полет стрелы и высотой до самых туч. Казалось бы, всякое повидал на своем веку, а такого зрелища еще не видывал. Эх, был бы Калга-сэчэн индусом, получилось бы огненное погребение, достойное такого человека. Но нойон велел насыпать над покойником курган. Какой, хотелось бы знать, высоты? Лучше перестараться, чем недостараться. Гэрэл очень любил своего учителя и на недостаточно высокий холм может обидеться.

А где взять столько землекопов? Своих людей мало, пленные угнаны, местные крестьяне поразбежались.

Можно, конечно, словчить. Навалить недогоревших бревен, всякого мусора, а землей присыпать только поверху. Не станет же царевич разрывать и проверять? Но может обидеться дух Калги-сэчэна, а это еще хуже, чем гнев нойона.

Пойти, что ли, посмотреть? Если еще жив, спросить, ладно ли будет с бревнами. Старик мудр и некичлив.

Сначала Манул подошел к караульному, тихонько спросил:

— Что он?

— Долго стонал. Потом перестал.

Манул трижды поклонился южной стороне неба, где находится заоблачное царство Тенгри. Душа мудреца несомненно уже отправилась туда.

Когда сотник последний раз видел шамана, тот лежал на спине, с закрытыми глазами. Русская стрела торчала из груди и покачивалась в такт тяжелым вздохам. За что подлый бог смерти так долго мучил хорошего человека? Вот ведь и столик с подношениями Эрлэгу рядом поставили — кумыс, сочный хурут, молочное вино архи, жареный бараний зоб. Забирай душу, не терзай.

— Не звал перед смертью? — еще спросил Манул, робея войти. Мертвец все-таки особенный, не чета остальным. В больших шаманах живет большая сила. Бывает, не вся она уходит с покойником. Может и навредить, если кто неосторожно приблизится.

На всякий случай Манул прочитал заклинание против невидимого зла и скинул у порога гутулы. Потом все-таки вошел.

В юрте было совсем темно, ничего не видать.

— Ты жаловал меня при жизни, не обижай и теперь, — сказал сотник мертвому шаману. — Похороню тебя по-царски.



— А, Манул, — раздалось из мрака. У сотника от ужаса встопорчились волоски на затылке. — Зажги-ка светильник, а то я в темноте весь кумысом облился.

С привидением спорить нельзя. Весь трясясь, Манул запалил лампу-жировик. Под конусом потолка разлилось дрожащее красноватое сияние.

Калга-сэчэн не лежал, а сидел. В одной руке держал чашу, в другой кусок мяса. Глаза весело блестели. Стрелы в груди не было.

— Ишь, глаза какие круглые сделались. Будто у руса, — засмеялся старик. — Живой я, живой. Раненый немножко, но несильно. На мне

три халата, из толстого китайского шелка. Он не хуже железной кольчуги защищает. Стрела между ребер кольнула, да неглубоко вошла.

— А...а...а зачем же ты нойону сказал, что умираешь? — пролепетал Манул, еще не отойдя от испуга.

— Устал я в походы ходить. Никогда я войну не любил, а теперь еще и старый стал. Силы не те. И много ль царевичу проку от моих советов на войне? Я не вояка, я человек мирный. Про жизнь я много знаю, а про смерть не больше юного Гэрэла. Никогда я ею не интересовался. Вот вернется царевич с победой к мирному житью, я ему пригожусь. Он меня пуще прежнего слушать станет, я ведь его от стрелы защитил.

Шаман подмигнул, и Манулу вдруг тоже стало весело.

— Как я рад, что ты жив, гуай. Не придется насыпать высокий курган.

Оба засмеялись.

— Мой курган — молодой Гэрэл, — сказал Калга-сэчэн. — Сяду на него, вознесусь высоко. Мальчик смелый, смысленый. На язык только невоздержан. Любит спьяну похвастать, что приходится хану Бату старшим родственником — дядей. Налей-ка мне еще архи. И себе тоже. Поживу тут у тебя, пока рана не заживет. Ты не против?

— Я твой вечный должник, гуай, — низко поклонился Манул. — И рад я не только из-за кургана. Нечасто увидишь человека, который сумел провести самого Эрлэга.

* * *

Как обустроивает свою жизнь обычный человек? Сначала позаботится о себе, потом о семье и родичах, потом о родном курене и только после этого станет глядеть, что творится окрест. Не то человек, облеченный властью. Если он чего-то стоит, то делает наоборот: сначала приводит в порядок жизнь подвластных ему людей и лишь затем — свою собственную. Так велит мудрый закон Великой Ясы.

Манул теперь жил под бунчуком с конским хвостом и был сотник. И не просто армейский сотник, кто должен печься о сотне нукеров и двух сотнях лошадей, а начальник над целым нутгом. Раньше здесь располагались два русских города, Свэрэстэ и Рэдэмэр, четыре десятка больших и малых *дэрэвэн*, как русы называют свои деревянные поселки, а правили всем этим краем старый нойон с пятном на лбу и его старший сын, чьи головы Гэрэл-нойон отправил темнику вместе с победным донесением.

Нутуг у Манула был обширный: день быстрой рысью в длину, полдня в ширину, а населения не имелось вовсе, свои нукеры не в счет.

Оба города сторели, горожан, кто не погиб, угнали. Потому что победители в городах жить не умели, а побежденному народу города ни к чему. Когда в одном месте слишком много людей, они чувствуют свою силу и смеются. Но и совсем без людей тоже нельзя. Кто будет давать десятину?

Крестьяне-русы разбежались от наступающего войска во все стороны, но деться им было некуда. И к северу, и к югу, и к западу теперь правили такие же монгольские сотники, а к востоку была Степь.

Манул разослал половецких толмачей по всем направлениям, чтобы говорили беглецам: не бойтесь, возвращайтесь, ваши дома стоят целые. Не то перемерете с голода, поморозитесь. Русы не монголы, они зимой без теплого дома жить не умеют, поэтому через некоторое время крестьяне потянулись назад.

Сначала, конечно, послали стариков, которым все равно помирать. Потом потихоньку вернулись остальные.

В каждую ожившую деревню Манул наведалься сам. Без нукеров, только с толмачом. Пусть русы видят: монголы их не боятся. Говорил, что война

кончилась, теперь мир и убивать больше никого не будут, только преступников. И объяснил, как надо жить, чтобы не стать преступниками.

Десятую часть всего, что выращивается и изготавливается, нужно честно отдавать хану. Это совсем немного, ваш князь забирал четверть, а другие князья и того больше. Еще каждый год нужно отдавать на ханскую службу десятую часть молодых мужчин и девушек. Бояться этого не надо. Из мужчин воспитают сильных и храбрых воинов, завидная судьба. Девушки станут матерями воинов, а это самая почетная женская доля.

Русы слушали молча, и по их странным носатым, круглоглазым лицам было не понять, что они думают, поэтому Манул вздохнул с облегчением только весной, когда увидел, что крестьяне вышли на пахоту. Это значило, что жизнь в нутге налаживается.

Лишь теперь он занялся обустройством своего куреня — всю зиму сам был в постоянных разъездах и нукерам передышки не давал.

Поставил бунчук на высоком берегу реки, неподалеку от сожженного города. Вокруг — десять маленьких кибиток для десятников и десять больших юрт для воинов, которым полагалось жить вместе, по девять человек. Десятников-то назначил быстро, из опытных нукеров, а десятки

пока были одно название — где четыре человека, где пять.

Набрать и обучить новую сотню — это было самое важное. Вернется из похода тысячник — спросит.

После приступа остались раненые. Легкие ушли с войском, о тяжелых должен был позаботиться Манул.

Раненые монголы долго не разлеживаются. Кого не отпускает Эрлэг — умирают, кто сумел с ним договориться — выздоравливают. Таких набралось двадцать три человека, хорошее пополнение. Остальных пришлось взять у русов. Манул сам отобрал каждого рекрута: чтоб был проворный, неробкий и хоть немного умел сидеть в седле.

Обучать военному делу русов оказалось так же трудно, как болгар. Давно замечено: если в стране есть города, значит, нет хороших всадников. Саблей русы махали мощно — плечи у них были крепкие и руки сильные, но лошадей понимали плохо, а из луков стреляли криво. Манул сказал десятникам, что рекрутов и не надо обучать меткости, только быстроте. В бою важно, чтобы на врага стрелы сыпались дождем, без остановки, поэтому целятся только мэргэны, кто бьет без промаха, а остальные просто как можно чаще спускают тетиву.

Главное, чтобы новички захотели стать монголами, — об этом Манул заботился пуще всего. Кто полюбил скачку, свист ветра, воинское товарищество и вечный торг с Эрлэгом, тот уже монгол. К осени должна была вырасти настоящая монгольская сотня полного состава и приличного качества.

* * *

Наладив жизнь куреня, Манул наконец занялся собственным хозяйством.

Прежде всего, конечно, подобрал себе старшего коня, а то два запасных были не особенно хороши. Выменял у начальника соседней сотни Элбэнха очень приличного гнедого жеребца, на котором сотнику ездить не зазорно. Взамен отдал жемчужную сетку.

Отношения с новым конем сложились вежливые, но без любви. Манул даже имени ему не дал, чтобы Звездуха там, наверху, не ревновала. Звал просто «эй, конь».

Затем поставил хорошую большую юрту. Пусть люди смотрят и видят: здесь обретается Власть, вон и конский хвост полощется на ветру. Первые три месяца, пока не начал таять снег, рядом стоял нойонов шатер белого войлока, подни-

мая Манулов авторитет еще выше. Там выздоравливал, а потом просто жил, ждал весны Калга-сэчэн. Он выходил редко, только если выглядывало солнышко, а так всё полеживал или посиживал. Несколько раз сотник заставал у него старого русского шамана, который назывался *поп*. Попа привозили из большого села, жители которого разводили овец. Однажды Манул заглянул в юрту и увидел, что оба старика стоят на коленях, что-то протяжно напевают и делают рукой движения от лба к животу, от плеча к плечу.

— Учусь русским молитвам, — объяснил потом Калга-сэчэн. — А еще Фома-сэчэн обучил меня читать русские письма по книге, которую ты мне подарил.

— Там, в книге, изложена русская Яса? — почтительно спросил Манул. Он уже знал, что книги — это произнесенные кем-то слова, которые можно воскресить при помощи колдовства, именуемого «чтение».

— Нет, это сказка про багатура, который любил хатун, и они убежали в лес и стали жить вдвоем, вдали от всех.

— Каждый багатур должен любить жену своего хана. Зачем же убегать? — удивился Манул. — И зачем жить в лесу? Там темно, ничего не видно, нельзя пустить коня вскачь.

Калга-сэчэн рассказал удивительное. Оказывается, у людей Запада бывает, что мужчина и женщина не просто хотят вместе лечь, но вроде как заболевают духом и совсем не могут обходиться друг без друга. Это не такая любовь, когда тебе просто кто-то очень нравится, а совсем другая: любишь кого-то так сильно, что на всех остальных любви уже не остается.

Шаман очень хорошо умел объяснять непонятное. Он сказал: «Разве ты любишь других лошадей, как любил свою Звездуху?» — и Манул понял.

Они часто разговаривали с Калгой-сэчэном по вечерам о всяком-разном, это было самое лучшее время суток.

— А ты кого-нибудь так в своей жизни любил, гуай? — спросил сотник.

— Я больше всего любил узнавать новое. Меня гнало с места на место ненасытное любопытство. — Шаман вздохнул. — Поэтому ни с одной женщиной я надолго не оставался. Даже если какая-то очень нравилась, скоро она переставала быть новой, и я шел дальше. Теперь я часто вспоминаю одну тангутку, с которой прожил когда-то, много зим назад, два месяца, и думаю: если б я остался с ней, может быть, узнал бы про жизнь больше, чем за годы всех моих странствий. Но я был молод и глуп. Я ушел...

— Ты не мог не уйти. Ты служил великому Чингисхану.

Калга-сэчэн пренебрежительно покривился:

— Это Чингисхан думал, что я таскаюсь из конца в конец земли, следуя его воле. А я просто любил смотреть, как устроен мир, как где живут люди и какие где боги. Я был у кераитов и молился Иисусу. Был дервишем и молился Аллаху. Был в китайском монастыре — молился Будде. А сейчас я снова монгол и молюсь богу Тенгри. К старости я понял, что Бог — один, и ему все равно, как мы его называем. Лишь бы исполняли Его закон, который тоже один.

— В чем же состоит этот закон?

— А то ты не знаешь? поступишь правильно — будешь награжден. поступишь неправильно — будешь наказан.

Поразмыслив, Манул спросил:

— А как понять, что правильно и что неправильно? Ведь у нас обычаи одни, у хорезмцев другие, у половцев третьи. Все живут по-разному. У русов вон почему-то считается, что брать больше одной жены нельзя.

— Богу все равно, что ты считаешь правильным. Но если уже решил, что это — правильное, живи по своей правде. Изменишь самому себе — изменишь и Богу.

— А если сомневаешься, что правильно и что неправильно?

— На самом деле в глубине души ты все равно знаешь, как правильно. Просто пытаешься себя обмануть. И еще помни вот что. Бог не мелочен и не придирчив. За малый грех и наказание пустяковое. Выпил много вина — получи похмелье, только и всего. Главное — не совершай предательства, этого Бог не прощает.

* * *

Самый ценный совет мудрец дал расставаясь.

Весна выдалась очень ранняя. Солнце сияло каждый день, дул свежий ветер. Степь стала твердая, гладкая и блестящая, словно хорезмское блюдо.

— Лучшее время, чтобы ехать на санях, — сказал Калга-сэчэн. — Старые кости не любят тряски. Вели сложить юрту, подковать коней шипастыми подковами. Поеду на реку Итиль, куда вернутся тумены, а вместе с ними и мой Гэрэл. Война скоро кончится.

Манул не спросил, откуда старик это знает. Шаман он и есть шаман. А спросить нужно было про другое.

— Теперь, когда я поставил себе хорошую юрту, пришло время поселить туда женщину. Но у меня никогда не было жены. Женщин было много, но это другое. Взял силой, что тебе нужно, сел в седло, ускакал. Но с ними я не собирался жить, а с этой придется. Если будет угодно Тенгри, она родит мне сына. Научи меня, гуай, как нужно поступить с женщиной, если собираешься с ней жить долго.

Некрасивую русскую девку Манул всё это время держал в служанках и не трогал, приглядывался: Звездуха или не Звездуха? Иногда казалось — она. Когда, отдоив коров, устало сбрасывала прядь белых волос со лба, так что открывалось пятно на лбу. Или — было несколько раз — когда Манул заставлял ее неподвижно глядящей на заходящее солнце. Звездуха тоже вот так смотрела на закат, чем-то он ее завораживал. А в остальное время баба как баба. В бабах Манул разбирался хуже, чем в лошадях. Можно сказать, совсем не разбирался.

— Я видел, как за тобой ходила твоя Звездуха, — ответил шаман. — Слушалась без плетки. Значит, сумел приручить. Так же приручают и женщин, разницы нет. Только говори с ней больше, чем говорил с кобылой, вот и вся хитрость.

Сотник усомнился:

— Моя Звездуха меня не боялась, даже когда была жеребенком. А эта цепенеет, едва я на нее взгляну. Не так, как вначале, но все-таки сильно меня боится. Ведь я ее не бью, не обижаю, ни разу не прикрикнул. Кроме того, с кобылой не надо было делить постель, а с женой надо. Я недавно чуть дотронулся до ее плеча — она дернулась. Как быть? Не насильничать же?

Калга-сэчэн задумался, но ненадолго.

— Насиловать жену, конечно, нельзя. От насилия рождаются злые и несчастные дети. Но из-за постели ты не тревожься, это пустяки. Она — девка. Как же ей не бояться? Все девки этого боятся, пока не поймут, что ничего страшного нет. Есть у меня семена, из которых в Китае варят свадебное зелье. Его дают молоденьким невестам перед первой брачной ночью. Подмешай в вино, дай выпить. От такого напитка у женщины жизненная сила уходит из головы в утробу. Женщина становится мягкая и потная, пьяная, глупая, все время хихикает и ничего не боится.

Вечером Манул посадил девку перед собой. Поставил угощение — и татарское, и русское.

Она сидела ни жива ни мертва. Не знала, что будет. К еде не притрагивалась.

— Давно хочу тебя спросить, — ласково произнес он. — Ты тогда могла убежать, как твой брат, — и не убежала. Не от страха, ты смелая. Помню, как ты бросилась спасать брата, не испугалась стрел. Почему ты с ним не убежала?

— Я дала клятву Христу. Если Он пощадит брата, я стану твоей рабыней. Клятву нарушать нельзя, — тихо ответила она, опустив лицо, но перед тем быстро взглянула на Манула особенным образом.

Он помолчал. Вести дело быстро было нельзя. Продолжил после паузы:

— Иногда ты странно на меня смотришь. Будто тоже хочешь что-то спросить. Спрашивай.

Девка долго собиралась с духом. Наконец, так и не подняв глаз, побледнела, прошептала:

— Почему ты меня... не тронул? Ведь я твоя рабыня. Ты мог сделать со мной что пожелаешь.

Манул вспомнил, как шаман говорил: женщина, которую ты мог взять и не взял, сначала радуется, а потом задумывается. Почему не взял? Может, она нехороша, нежеланна? Калга-сэчэн человек мудрый, но, кажется, тоже не очень хорошо понимает женщин. Эта спросила не от обиды — Манул почувствовал бы.

— Против воли, насильно можно брать только чужих женщин. Я это делал много раз. Но ты перестала быть чужая и стала своя.

— Своя? — не поняла она и наконец посмотрела на него — кажется, уже не очень пугливо.

Он стал объяснять. Что люди делятся на своих и чужих. Свои — те, кто с тобой и за тебя. Они-то и есть настоящие люди. Чужие — или враги, или никто. Они не имеют никакой важности. Своя собака дороже чужого хана. Со своими, как с чужими, обходиться нельзя. И наоборот: поступать с чужими, как со своими, тоже неправильно.

— Наш бог Христос учит не так, — сказала она.

— По-божьи, может, и не так, — не стал спорить Манул. — А по-человечьи так. Скажи, вот если ты увидишь, как в реке тонут твой брат и кто-то незнакомый, а ты в маленькой лодке, куда можно посадить только одного. Кого ты спасешь?

— Брата, конечно.

— Еще бы. А если бы нет, ты была бы самым худшим человеком на свете. И во всем так. Кто сделает плохое своему — тот предатель, хуже этого нет ничего. А сделать плохое чужому можно. То есть если просто так или для забавы — плохо, грех. Но если ради своих или для дела — тогда хорошо и правильно. Вот главное, что нужно понять про жизнь: есть два закона, для своих и для чужих. Запомни это. Ты молодая, ты

будешь долго жить после меня. Твой Христос, может, и хороший бог, но его учение толковали неумные люди.

Она задумалась. Манул решил, что пора перейти к самому трудному.

— Ты знаешь, что я убил твоих отца и мать, — строго и печально сказал он. Девушка вздрогнула. — Я сделал так, потому что они были мне чужие, никто. Сейчас я бился бы насмерть, чтобы их защитить. Потому что они — твои отец и мать. Потому что теперь мы с тобой стали свои. Мы — одно.

Выражение ее лица изменилось. Он не очень понял, что блеснуло в ее больших глазах, уже не казавшихся ему уродливыми: испуг, удивление или что-то еще.

— Если ты чувствуешь, что из-за родителей... или из-за чего-то другого никогда не сможешь быть для меня своей — скажи. Отпустить я тебя не могу. Некуда. Теперь здесь всё монгольское, тебя так или иначе кто-то захватит. Но я продам тебя какому-нибудь хорошему человеку, который не будет тебя обижать. Может быть, он станет для тебя своим.

— Я дала клятву принадлежать тебе, — негромко, но твердо молвила она. — Бога обманывать нельзя.



Не хочет покидать родные места, подумал Манул. Но бояться перестала. И ненависти нет. Уже хорошо.

— Ладно. Я научу тебя, как быть монгольской женой.

И будто случайно, наливая себе кумыса, коснулся ее запястья. Она быстро отдернула руку.

Так же шарахается необъезженная лошадь из табуна, когда ее первый раз ведут седлать.



А не надо торопиться. Тут своя наука: всё делать без спешки, в строгой последовательности. Одно переходит в другое.

Сначала нужно погладить по холке, потрепать или расчесать гриву. Потом положить на спину мягкий, приятный потник. Потом — красивый чепрак. Потом — седло. Тихонько, но крепко затянуть подпругу. Надеть уздечку — ласково, не прищемив губ. И только после всего этого садиться и ехать.

С мягкого потника Манул и начал.

— Сначала мы поужинаем как муж и жена. Угощайся.

Она была голодная, по глазам видно, но есть не начала — испугалась слова «сначала».

— Потом ты пойдешь спать. А завтра я буду учить тебя всему, что должна уметь монгольская женщина: правильно одеваться, готовить правильную еду, ухаживать за лошадьми. Ешь, мы теперь всегда будем ужинать вместе.

Успокоившись, она приступила к трапезе. Брала только русское: невкусный серый хлеб, сырое молоко, моченый корень под названием *рэпа* — ужасная гадость.

Вина с шаманским зельем Манул ей не налил. Рано.

На следующий день тоже было рано. И на третий. Но в четвертый ужин она рассказывала, как днем пыталась подоить кобылицу и та хвостом хлестнула ее по лицу, и она с перепугу шлепнулась в лужу. Рассказала — и весело засмеялась. Манул тоже засмеялся. Они смеялись вместе. Может быть, уже пора, подумал Манул и немножко заволновался. Оказывается, это очень хорошо, когда молодая женщина тебя не боится, рассказывает что-то и смеется. Не хотелось бы всё испортить.

А она еще сказала:

— Сегодня буду учиться пить кумыс.

Взяла чашку, отпила — поперхнулась. Не понравилось.

— Ешь что тебе нравится, — сказал он. — Бери свое, русское.

— Нет. — Она вытерла белые от кумыса губы. — Я буду привыкать. Это теперь и моя еда.

— Тогда и имя у тебя будет монгольское. Я стану звать тебя Звездухой.

Она повторила трудное для нее слово Одоншийр два раза. Взяла кусок хурута, понюхала — заколебалась.

— Ешь мед, — засмеялся Манул. — Его любят и русы, и монголы.

Звездуха тоже улыбнулась, благодарно. Откусила от сот белыми ровными зубами. С уголка рта повисла тонкая золотистая нитка. Манул снял ее пальцем, и девушка не отстранилась.

Пожалуй, пора под седло, решил он и подумал: она уже не такая некрасивая, как раньше. Потолстела. Кожа обветрилась, больше не напоминает рыбе брюхо. И к водянистому цвету ее глаз он тоже привык. А что они круглые — так и у Звездухи были такие же.

— Сегодня я научу тебя пить хмельной архи, — сказал Манул, наливая волшебного напитка.

Она выпила, и потом всё получилось, как обещал Калга-сэчэн. Сначала Вторая Звездауха раскраснелась, на кончике длинного носа выступили капельки пота. Потом стала хихикать, взгляд затуманился.

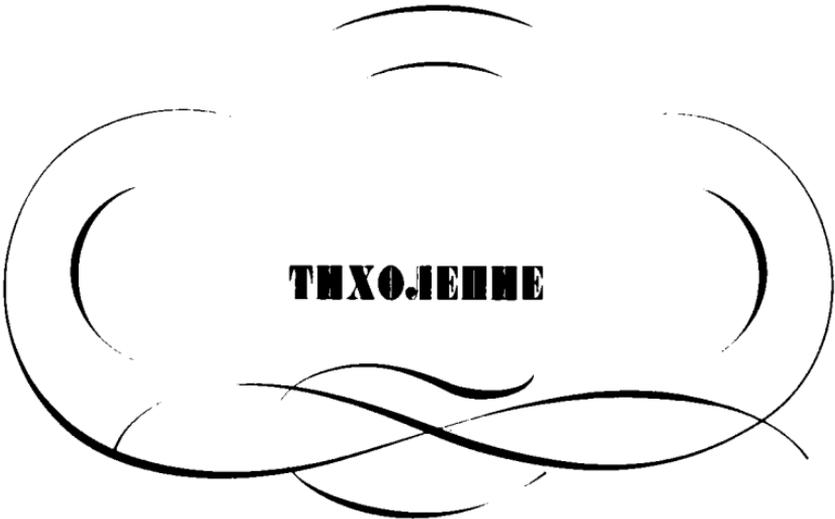
У Манула давно не было женщины, в нем накопилось много голода и много сока, но он постарался быть медленным, ласковым и взял ее только один раз, после чего она сразу уснула.

Утром открыла глаза, посмотрела на него непонимающе. Заплакала, отвернулась.

Он молча гладил ее по голому круглому плечу, и она перестала плакать. Взяла его руку, прижала к губам, издала чмокающий звук. Ночью она делала то же самое с его щеками. Будто кусала губами. Непонятно зачем, но было приятно.

Так женщина по имени Звездауха стала для Манула своей, а он стал своим для нее.



A decorative flourish consisting of several overlapping, curved lines that form a central oval shape. The lines are black and have a smooth, flowing appearance. The central oval is defined by two large, curved lines that meet at the top and bottom. Inside this oval, the word "ТНХО.ЕПНЕ" is written in a bold, black, sans-serif font. The flourish also includes several smaller, curved lines that extend from the main oval, creating a sense of movement and elegance.

ТНХО.ЕПНЕ



М уторнее всего был обман и страх обмана. Всё, что представало пред взором, оказывалось не тем, чем прикидывалось поначалу. В мире, куда провалился Солоний, никому и ничему нельзя было верить.

Увидел он, скажем, отца и невыразимо обрадовался: жив, жив, а страшное было сном! Батюшка стоял в тереме, у решетчатого цветностеклянного оконца, которое раскрашивало родное лицо синими, красными, желтыми квадратиками — на дворе сияло яркое солнце. Отец был повернут в профиль и о чем-то по своему обыкновению любомудрствовал. Слов не разобрать, но голос утешительный, раздумчивый, от одного звука на сердце у Солония сделалось ласково.

— Батюшка! — с плачем воззвал к нему Солоний. — Мне виденье было, дьяволом навороженное! Будто тебя убили!

А отец повернулся, и вместо второго глаза у него оказалась красная яма — как в тот миг, когда только-только выдернули татарскую стрелу.

Солоний закричал, проснулся.

— Чего ты напугался, дитяtko? — нагнулась над ним мать. — Это сон дурной. Тьфу — и нету его. Обними-ка меня, успокойся.

Всхлипнув, он прижался к ее мягкой груди, обхватил за шею, а рука попала в мокрое. Что за нелепица? Поглядел — ладонь и пальцы в крови. У матушки затылок и шея разрублены сабельным ударом.

Закричал, заплакал. Вскочил с лавки — и прочь из горницы, по лестнице да во двор. А там ливень страшный, из всех небесных хлябей, и земля раскисла. Нога провалилась по щиколотку — не вытянуть. А сзади шаги шлепают. Оглянулся — рязанский дружинник, что ногами бил, от конюшни идет. Медленно, грозно. Сапогами чавк, чавк. Сам улыбается, глаза щурит, и превращаются они в две узкие прорези, а борода вытягивается в жидкую мочалку, и видит Солоний: не рязанец это, а татарский Сатана, вон и шрам поперек рожи.

Идет Сатана прямо на Солония, приговаривает по-половецки: «Барана резать, барана резать».

Опять закричал, заплакал. Задрал лицо к небу. Господи, спаси!

Холодные струи дождя потекли по горячим щекам. Стало прохладно, приятно.

И наклонился лик — седобородый, блаженно-утешительный.

— Будет метаться-то, будет, — молвил тихий голос. — Жар у тебя. Вот я тебя тряпицей холодной...

Но Солоний глядел настороженно: а во что обратится это наваждение? Во что угодно, только б не в Сатану татарского.

— Очнулся, сынок? — сказал старик. — Я тебе не мерещусь, я на самом деле. Отвару травяного попей.

Лишь отхлебнув из чашки горькое, пахучее, княжич понял, что проснулся.

— Ты кто? — спросил хрипло. — Где я?

Низкий дощатый потолок, бревенчатая стена с малым окошком, на столе ровным светом горят четыре лучины и что-то лежит — белое, многослойное, ворохом.

— Звать меня Агапием. Я инок, живу в лесу. Вчера подобрал тебя на тропинке побитого. Положил на шубейку, с Божьей помощью притащил волоком к себе в келью. Простыл ты сильно. Верно, долго там пролежал, снегом всего присыпало.

Тут Солоний всё вспомнил, хотел приподняться — вскрикнул.

— Лежи. У тебя бок смятый. Как бы ребро не треснуло. И голова багрово-синяя. Кто это тебя так? Татары?

— Есть свои хуже татар, — всхлипнул княжич. — Спасибо тебе, отче. Спас ты меня. А только лучше бы замерз я там, на снегу. Некуда мне идти и незачем.

Так себя, злосчастливого, жалко сделалось — не заплакал, а завыл.

— Это я тебя, отрок, благодарить должен. Кому повезло живую душу спасти, тот целый мир спас. Ибо душа человека целый мир и есть. То-то мне и радость, то-то и спасение. Ты плачь, плачь. Слезы — дар от Бога, Его благословение. Ими горе смывается. Тебя как зовут, чадо?

— Солоний. А еще Олег, — зачем-то добавил княжич.

— Два имени? — удивился монах. — Как у князя. — И объяснил то, что Солоний знал без него: — Князей двуименно зовут — в память святого, дабы жили по-христиански, и по-воински, в память о прежних воителях, дабы по их славе мерялись. И каждому выбирать приходится, крестом жить или мечом. Все властители, кои в летописях оставили по себе память, выбрали меч.

И кто ныне помнит, что Ярослав Мудрый был крещен Георгием, Владимир Мономах — Василием, а Всеволод Большое Гнездо — Дмитрием? Придется и тебе выбирать, кем жить — Солонием иль Олегом.

Говорливый какой, подумал княжич. У него всё сильней болела и кружилась голова, шевелить языком было трудно. Только и сказал:

— Я Солоний.

А про Свиристель рассказывать не стал, памятуя, как не поверил ему рязанский ирод.

Старик устроил больного удобней, соорудил высокое изголовье. Теперь Солоний мог оглядеть келью получше.

— Что это? — спросил он про белую непонятную кипу на столе.

— Бересты березовые. Я, сыне, летописец.

— Кто же летопись на бересте пишет?

— Ты пока молчи, тебе говорить трудно. Слушай. Так оно и тебе лучше, и мне веселей. А то я тут в лесу всё сам с собой бормочу, одичал совсем. Я, сыне, жил раньше в Рязани-городе, на архиерейском подворье. Писал греческими чернилами на пергаментях. А потом надоело, ушел. Суета там, все нос суют — правильно ли пишешь. То от епископа, то от князя. А я не хочу правильно писать, я хочу писать правду. Как оно всё на

самом деле. Вот и ушел от них в дальний лес. Царапаю по бересте, железным стилусом. Раньше ко мне братия из Рязани навевалась, отдохнуть душой. Кто склянку чернил принесет, кто стопу пергамента. Тогда я свои записи начисто перебелил. Ныне такие времена, что боле не носят и бог весть, принесут ли вновь. Рязани-то, града преславного, уж нет. — Агапий перекрестился. — Ничего, буду на бересте. Она не переведется. Берез в лесу много... Ох, великие времена наступили. Страшные. Великие времена всегда страшные.

— Откуда про Рязань знаешь, если в лесу живешь?

— Я тебе сказывал, что раньше ко мне монахи приходили, и не только из Рязани. Я их выпрашивал, что в миру делается, записывал. А когда перестали ходить, стал я сам на перекресток дорог навеваться. Сейчас все с места поднялись. Такое рассказывают... Как мыши все — завидят вдали конных и врассыпную. Вчера на дороге ни души не было. Тебя вот только подобрал, спасибо Господу.

— А не боишься? Татары наедут — не убежишь. Ты старый.

— Я и не бегаю. На мне, вишь, крест, скуфейка, ряса. Татары попов не трогают. Такой у них

закон, мне половец один объяснил. Тоже и татары люди, пожалей их Боже.

— Не люди они, — процедил Солоний. — Они слуги дьявола, нам в истребление посланы.

— В испытание, — поправил Агапий и вздохнул. — Вижу, натерпелся ты от них. Поспи, потом расскажешь, если захочешь.

Наутро Солоний проснулся голодным. Поел горячей каши, запил молоком, непонятно откуда в лесу взявшимся. Стал рассказывать — понял уже, что старик ему поверит.

Недолгое время Агапий просто слушал. Потом пересел к столу и с удивительной сноровкой заскрипел толстой железной иглой по бересте.

— Это я пока пометы для памяти, после подробно запишу. Тогда всё случившееся навеки останется, — убежденно сказал он. — Меня не будет, тебя не будет, а память сохранится. О погибшем Свиристельском княжестве, о твоём отце и брате, обо всех убиенных.

Хорошо рассказывать, когда тебя так слушают. Солоний говорил и плакал, говорил и плакал до тех пор, пока вконец не обессилел.

Тогда монах отложил стилус и завел речь о себе.

— Я хоть не княжий сын, но тоже вырос в высоком тереме. Отец мой был черниговский боярин, и я, согласно рождению, учился быть воином. Отроком всё мечтал о ратной славе, о подвигах. Мы тогда с суздальскими воевали, нескончаемо. Помню, я боялся, что, пока вырасту, наступит замирение, так и не повоюю. — Агапий с улыбкой покачал головой, будто удивляясь себе юному. — Ничего, повоевал. Когда мне сравнялось восемнадцать, случилась большая сеча. Вот оно, думаю, мое счастье: или голову сложу, или на весь Чернигов прославлюсь. Пока рубились, я под княжьим стягом был, в седле ерзал. Берег князь свою ближнюю дружину. Только когда суздальцы побежали, нас, будто псов, с поводка спустили. Воевода меня научил: наметь одного какого-нибудь и гонись за ним, не отставай. Зарубишь — выбери второго. Потом третьего. Главное за двумя зайцами не гоняйся. Так я и сделал. Высмотрел суздальца, который к лесу бежал, припустил за ним. Он, бедный, несется со всех ног, да разве от конного уйдешь? Как услышал он прямо за спиной топот, повалился на траву ничком, затылок руками прикрыл. Мне с седла рубить далеко. Спешился. Занес меч — чувствую: не могу. Пожалел меня Господь, не то сгубил бы я две души: чужую и свою. А тут дес-

ница словно одеревенела. Опустилась, меч выпал. Этот, суздаец, не дождавшись удара, обернулся. Видит, я безоружный стою. Вскочил, нож выхватил. Я ему смотрю в глаза, не могу пошевелиться. Всё, смерть моя пришла. А только и его Господь пожалел. Опустил суздаец нож, усмехнулся и говорит: «Плохие из нас с тобой, черниговец, вояки». И обнялись мы с ним, и больше никогда не расставались. Вместе приняли постриг, вместе жили в обители, пока его Господь не наградил.

— Чем? — спросил Солоний, замороженный рассказом.

— Тихой смертью. Это самая лучшая из наград. Жизнь-то человеческая, обычная — одно мучение. Все друг дружку мучают и сами мучаются. Одно избавление — в лесу от мира спастись. Особенно в великие времена. Когда мир обращается дикой чащей, только в дикой чаще и мир. Хорошо здесь. Тихолепие. Сам увидишь.

* * *

Истинно так и оказалось: тихолепие.

Отболев и вылечившись, Солоний остался у доброго инокa. Старик тому радовался. Для от-

шельника он был слишком словоохотлив, нуждался в собеседнике, да и дряхловат уже становился жить в чаще один, без помощника. Наколоть дрова, растопить печь, принести от незамерзающего ключа воду — все эти необходимые обыкновения давались ему с трудом, а Солонию были не в докучу. Чем-то надо заполнять день, не всё же плакать о невозвратном.

Скоро сложилось так, что каждый занимался своим делом. Агапий по-стариковски поднимался чуть свет и садился за свою летопись. Днем брел через лес на перекресток, разговаривал с редкими путниками, приносил вести. Все они были плохие. Татары расползлись по всей русской земле, будто саранча, и нигде на них нет управы. Надежда на одного великого князя Гюргия Всеволодовича, но он далеко сидит, в городе Владимире.

Иногда — в неделю раз или два — приходили из окрестных деревень крестьяне, звали отпевать мертвецов или крестить младенцев. В уплату оставляли еду: муку, молоко, вяленую рыбу, грибы-ягоды. Хватало и еще оставалось.

А самое лучшее время было, когда сидели вдвоем под треск печки, Агапий зачитывал новое из летописи и говорил о мудропечальном — горьком, но в то же время утешительном. Что нет ничего небывалого под солнцем, всё уже случилось раньше, и ничего, живы человеки, их род не пре-

секается. Многие страны и народы бывали велики, да сгнули, не Русь первая, не Русь последняя. Говорил про Божий промысел, которого умом не постичь и перед которым можно лишь смиренно склониться. Испытания и беды надобны для блага самих человеков. Через сто, или двести, или тысячу лет Господь воспитает людей чистой, красивой души, и тогда наступит на земле чистая, красивая жизнь. Дороги станут безопасны, двери незаперты, всякий встречный будет тебе рад и никто никого даже не подумает терзать и насильничать. А случится всё это оттого, что соберутся правдивые летописи о прошлых ошибках, грехах и заблуждениях. О них всех надобно знать и помнить, только этим человечество и умудрится, только этим и спасется. «Важней летописной работы ничего на свете нет, — часто повторял отшельник. — Внуки, правнуки будут читать, на ус мотать. И про нас, бедных, помнить. Что мы тоже обитали на свете, управлялись как умели и не дали искре жизненной угаснуть».

Слушать Агапия было так же хорошо, как раньше батюшку. Век бы сидеть, внимать мягкому голосу, глядеть на мерцание лучины и мечтать о том, что будет через тысячу лет. Думалось, что старик прав: в такие времена, когда противиться Злу нет никакой мочи, нужно смотреть вокруг, слушать в оба и всё записывать. Высунул



нос из леса, понюхал, чем пахнет, — и назад, в нору, где покойно, безопасно и, главное, есть великое дело: трудиться ради будущих колен.

Срезать с берез белую и гладкую кору, пригодную для письма, тоже входило в обязанности Солония. Он полюбил это легкое, веселое дело.

Однажды, дожидаясь, когда вернется с дороги Агапий, попробовал сам выводить стилусом буквы. Оказалось весьма отраднo: острым по податливому.

А монах в тот день вернулся мрачнее тучи.

Сказал:

— Беда, Солоша. Толковал с двумя владимирцами. Была у них там на севере, на реке име-

нем Сить, битва страшная, где сгнула последняя русская сила. Все войско наше пропало, до последнего человека. И сам князь великий Гюргий Всеволодович. Отрезали язычники ему голову, доставили ихнему царю. А имя того царя Батый. Сяду я, запишу всё, пока не забыл...

Услышав, что убит великий князь владимирский, последняя русская надежда, Солоний горько зарыдал — он полюбил плакать, раз по десять на дню обливался слезами, а тут как не заскорбеть? Агапий же унывать не умел.

— Всё как есть опишу, они много чего порасказали, — уютно приговаривал он, устраиваясь на скамье.

Вдруг увидел бересту, исцарапанную письме-нами Солония. Просветлел:

— Ах, красиво буквы выводишь! А я и не знал! — И тоже прослезился, но от радости. — Спасибо Тебе, Господи! Вдвоем у нас дело быстрее пойдет. А помру я — ты продолжишь. Я тебе объясню, как у меня что разложено. — Он показал на берестяные кипы. — После, Бог даст, перепишешь на пергамент. Вот счастье-то, вот счастье! Не уходи никуда, Солоний. Оставайся навсегда. Имя человека — его судьба, я тебе говорил. Ты — Солоний, твоя стезя — мудрость.

Обнялись, поплакали вместе.

* * *

Но когда началась весна, а она в этом году была ранней, в душе стало твориться странное, прошла по ней какая-то трещинка. Первый раз Солоний почувствовал эту трещинку, когда увидел, как по льду лесной речки пролегла сетка разломов и в них чернеет, блестит вода, хочет высвободиться. Точно так же распирало изнутри душу. Еще она была похожа на яйцо, изнутри которого долбит клювом настырный птенец. Тюкает, тюкает, и вот уже пробил дырочку.

Княжич даже знал, как зовут настырного птенца: Олег.

Когда слишком долго засиживался над берестой и тело начинало требовать движения, он выходил поколоть дрова. Агапий тогда, на тропе, подобрал валявшийся меч, на который не польстился подлый рязанец. Взял с собой, чтоб добро не пропадало.

Мечом было удобно отсекал от полена щепу.

Солоний ставил на пень, торцом, куски дерева и рубил их то сверху, то сбоку, то наискось. С левого разворота, с правого полуоборота, в прыжке, пав на колено — по всей венгерской премудрости, которой обучал его в прежней жизни воевода Матьяш. Мог упражняться так и два, и три часа — не надоедало. Сначала приходилось держать меч

двумя руками, потом хватало и одной. Не таким уж тяжелым оказался меч. Если он затуплялся, Солоний брал брусок и любовно точил лезвие, проверял остроту пальцем — подушечка вся покрылась тонкими, мелкими порезами.

Свежеотточенным оружием было приятно перерубить полено надвое, чтоб верхушка отлетела в сторону, будто отсеченная голова. Княжич воображал, что это летит с плеч башка татарского Сатаны, и в этот миг был не робким Солонием, а бесстрашным Олегом.

Однажды, глубоко и привольно дыша после долгой рубки, он вдруг сообразил, что очень давно не плакал. Раньше-то, зимой, всё ревел и ревел, из глаз беспрестанно сочились слезы. А тут попробовал себя разжалобить — стал вспоминать отца, мать, сестру, но ресницы остались сухими, и сердце вместо того, чтоб сиротливо сжаться, заколотилось яростно, зло.

Апрельское солнце стояло над верхушками сосен. Ему, высоко вознесенному, было видно и Солония, и окрестный лес, и полоненную сестру, и всю Русь.

Филомена, если еще жива, ждала спасения. Помнила, как брат о том клятву давал. Надеялась, ибо больше ей надеяться не на что. Ждала

и Русь. Агапий говорит, она умерла, а вдруг нет? Вчера вернулся с перекрестка, сказывал, что на севере Черниговского княжества какой-то город Козельск будто бы второй месяц не поддается татарам, держится, и взять его поганые не могут. Если это правда, значит, жива еще Русь. Истекает кровью, но жива. А он тут, в тихолепии, по бересте царапает...

Жмурясь, Солоний долго смотрел на солнце, и начало казаться, что это не светило небесное, а некий лучезарный лик, и проступали на нем переливчатые черты, до того знакомые, родные, что защипало глаза, но слез так и не пролилось — видно, были они вылиты до самого доньшка. На Солония с неба смотрела то ли сестра, то ли Русь, то ли попеременно обе. И звали: «Приди! Спаси!»

Раздумывать он не стал. Быстро, пока не вернулся старик, собрал в мешок самое нужное. Оставил на столе записку, короткую: «Спаси Бог». И подписал: «Олег».

Агапий поймет.



A decorative frame composed of several overlapping, flowing black lines that form a cloud-like or floral shape, enclosing the text.

РОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА



Выехав на пологий холм, откуда было видно большое черное пятно — пепелище, оставшееся от прежнего города, и кибитки куреня, Манул не утерпел: крикнул нукерам, чтобы управлялись без него, и пустил лошадь галопом.

Все десять дней, пока длилась треклятая поездка, Манула распирало нетерпение. Из-за этого он управился много быстрее, чем предписывалось приказом.

Приказ был произвести полудный набор в соседнем нутуге, сотник которого, Элбэнх, тяжело хворал и не мог исполнить положенное сам. Элбэнх доживал последние дни, это было ясно, но милосердная Яса запрещает назначать нового управителя, пока прежний не удалится в Небес-

ные Угодья, поэтому хочешь не хочешь, а пришлось Манулу делать за Элбэнха его работу.

Правда, Манул сумел извлечь из некстати свалившегося поручения какую-никакую пользу: забрал не десятую часть людей, а больше, и самых крепких русов собирался взять себе — выдать за своих. Тогда можно будет дать от собственного нутуга меньше парней и девок. В деревнях будут рады.

За год, прошедший с тех пор, как Манул поставил над обрывистым берегом свой однохвостый *туг*, жители худо-бедно приноровились к новому закону. Всякий народ можно приучить к порядку, если он разумен и дает людям жить.

Еще весной Манул пересчитал всех своих русов. Поделил на «десятки» — по десять домов. Назначил десятских. Десятские сами выбрали себе сотских. Этих Манул собрал, сказал им: я в ваши дела и обычаи мешаться не буду, живите как хотите, но за сбор подати и полюдья вы отвечаете передо мной, как и я отвечаю перед моим нойоном. Если всё у вас честно и гладко, можете считать, что меня нет. Кто чужой станет вас обижать — разбойники или посторонние монголы, — сразу сообщайте. В обиду не дам. Но если у кого заведется непорядок, спрошу по всей строгости.

Всего один раз пришлось проявить суровость. Сотский из самой дальней, лесной части нутуга

попробовал словчить — прислал слабых, недокормленных рекрутов. Должно быть, из самой бедноты, за кого заступиться некому. Манул приехал, отлупил хитреца плеткой, прогнал с должности и забрал всех его сыновей; столько же хилых рекрутов распустил по домам. Их матери были благодарны. Прочная власть стоит на двух ногах: строгости и справедливости. Если одна нога короче другой, власть хромает, может не удержаться.

И с новой сотней Манул управился в назначенный срок. Новобранцы-русы, конечно, еще не стали настоящими нукерами, но захотели ими стать, а это главное. Выучились командам, твердо усвоили, как воевать десятком. В седлах пока держались неуклюже, но очень старались превзойти друг друга в ловкости и храбрости, а такое порождает боевой задор. После первого же похода они превратятся в неплохих нукеров. И снаряжение у каждого справное, положенное по уставу: две лошади, два лука, хорошая сабля.

В срединный день осени Манул отправил донесение в Итильскую степь, где Гэрэл-нойон поставил свой туг, уже треххвостый, — за отличие в минувшей войне Бату-хан произвел царевича в темники. Победоносное войско вернулось из похода еще весной, пройдя через русские земли и приведя их к покорности. Осенью ждали нового

похода, на юго-запад, но гонец вернулся с ответом, что войны пока не будет. Может, зимой. Завоевание страны русов обошлось недешево, и хап приказал пополнить недостачу в людях и лошадях, иначе их может не хватить. Согласно последним донесениям лазутчиков, Западный Океан находится дальше, чем предполагалось раньше. Придется завоевать не меньше десяти царств, для чего понадобится десять туменов полного состава.

В последние месяцы судьба, всегда немилостивая к Манулу, вдруг сделалась непривычно щедра, однако о таком подарке он и не мечтал. На радостях пожертвовал богу Тенгри самого жирного вола, целиком.

Очень уж не хотелось идти на войну, не посмотрев, кого родит Звездуха. Брюхо у жены стало большое и тяжелое, но бабы говорили, раньше первого снега не опростается, и Манул даже не надеялся, что успеет подержать на руках сына.

И вот — несказанная удача!

Год выдался теплый, богатый солнцем. После ранней весны было жаркое лето и мягкая осень, а зимой снег всё не выпадал и не выпадал. По утрам, пощупав живот Звездухи, Манул выходил из юрты, смотрел на низкое небо и гадал: что случится прежде — роды или первый снегопад? Молился, чтобы ребенок поспел раньше. Сам

себе придумал и сам поверил: если дитя родится до того, как выпадет снег, всё будет хорошо.

И тут пришло распоряжение — отправляйся в соседний нутуг работать за тамошнего сотника. Десять дней назад это было.

* * *

Лошадь была новая и очень глупая, всё норовила сойти с галопа. Пришлось пару раз ожечь нагайкой по толстым бокам.

Всего один раз Манул на скаку оглянулся на длинную вереницу собранного полона. Беспокоиться было не из-за чего. Все закованы в колодки и привязаны к одной прочной веревке, никуда не денутся. И оба нукера опытные, свое дело знают.

Скорей вперед, к жене!

Родила или нет? И кого — вдруг не сына, а девочку? Пускай, только бы с самой всё было в порядке.

На подъезде к куреню пришлось перейти на шаг. Солидному человеку не пристало приближаться к дому впопыхах.

Встречные — монголы, кипчаки, русы — низко кланялись, как того требовал закон почитания. Манул, согласно тому же закону, на привет-



ствия не отвечал, сидел в седле подбоченясь, а сам с замиранием сердца пытался понять по лицам, не случилось ли беды. Ведь никто напрямую не скажет, не захочет быть дурным вестником, а спросить, ладно ли с женой, не позволял авторитет власти.

Чуть не задохнулся от облечения, когда увидел семящую навстречу Звездеху. Жива, здорова! Еще не родила, но и это хорошо. Можно быть с ней рядом, когда начнутся схватки, и проследить, чтобы повитуха старалась.

Живот выпирал из широкого шелкового номрога, который Манул купил у проезжих болгар-

ских купцов. Белые волосы Звездухи были спрятаны под высоким бохтагом, украшенным серебряной спицей и пером белой цапли. Супруга заслуженного сотника, начальника целого уезда, должна выглядеть представительно, но Манулу нравилось дарить Звездухе красивые наряды — она так им радовалась, так старалась быть хорошей монгольской женой.

Лицо Звездухи очень похорошело от беременности, стало почти монгольским. Оно лоснилось и сияло — видно, жена тоже ждала возвращения Манула, боялась, что он не успеет. Но этикет Звездуха усвоила хорошо. Не кинулась к стремени, не заговорила первой. Чинно наклонила голову (туловище не могла), застыла.

Чувствуя, что со всех сторон смотрят, Манул важно проехал мимо, к коновязи. Спешился, ослабил подпругу, потому что для мужчины лошадь важнее жены. И только потом обернулся.

— А, — сказал, будто только что заметил Звездуху. — Не родила еще?

— Виновата, не поспела, — ответила жена на своем смешном монгольском, от которого у Манула губы расползались сами собой.

Первый вопрос Звездуха тоже задала правильный, совсем монгольский:

— Где твой Эйконь?

— Поменял у Элбэнха.

Она подошла к новой кобыле, осмотрела ее. Манул потратил немало времени на то, чтобы научить жену разбираться в лошадях.

— Эта хуже, чем Эйконь. Голень короткая. И пясти тонкие.

Умница, подумал Манул, но вслух, конечно, ничего такого не сказал, а изобразил, будто расстроен:

— Твоя правда. Надул меня Элбэнх. В следующую раз затею меняться — поедешь со мной. А пока в табуне возьму другого коня. Какого посоветуешь?

— Конечно, Баатура.

— Хороший совет, — кивнул Манул. — Так и сделаю.

Ее лицо порозовело от удовольствия. Но в следующий миг словно потемнело и сжалось. Звездуха смотрела куда-то через плечо мужа.

Сотник быстро обернулся.

Ничего плохого сзади не было. Просто подошел полон. Нукерам не терпелось домой, и они заставили русов бежать, пустили в ход плетки.

Скованным бегать трудно, поэтому некоторые падали, но сразу поднимались. Кому охота получить удар?

— Господи Иусе, Тенгри милосердный! — воскликнула Звездуха, путая русские, кипчак-

ские и монгольские слова. — Они и так еле идут! За что их? А бледные какие...

— С чего им быть румяными, если их не кормили, — пожал плечами Манул. — И с чего мне их кормить, если завтра я отдам их ханскому сборщику? Скажи лучше, толкается ли дитя?

Но Звездуха не услышала. Она всё смотрела на полоняников, ее глаза были полны слез.

— Зачем ты мучаешь людей? Ты же добрый, я знаю! — сказала она. — И крестьяне говорят: наш татарин не то что другие.

Терпеливо, не в десятый, а наверное в сотый раз, Манул объяснил:

— Одно дело наши крестьяне, другое — не наши. Элбэнх болен, не выходит из юрты, поэтому я забрал вместо положенных ста двадцати человек сто сорок. Это значит, что двадцать своих можно будет отпустить. Я еще и дань у них там вперед собрал, больше нужного. С наших возьму меньше. Потому что они — наши, а те не наши. Как ты не поймешь? Ведь ты умная.

Мимо как раз вели отару овец, и один ягненок, поскользнувшись на голой, мерзлой земле, упал. Сам встать не мог, слабые ножки расплзались. Манул бережно поднял малыша, поставил, толкнул в мягкий задок.

— Этот ягненок — наш, и он мне дороже всего соседнего нутуга. А эти люди — чужие. Их за-

втра угонят, и ты их никогда больше не увидишь.

— Они не чужие! Они люди! — сдавленно крикнула Звездуха, да схватилась за живот. Разинула рот, закатила глаза, стала быстро и мелко дышать.

Повивальная бабка, которую Манул еще три недели назад заманил подарками из ханской ставки, была неподалеку — выглядывала из юрты.

— Началось, гуай! — деловито проговорила она, подхватывая Звездуху и уводя ее прочь. — Молись богам.

Манул со страху укусил себя за кулак, обругал самыми плохими словами. Зачем спорил с беременной, зачем расстраивал?

О, великий Тенгри! Ты не милосерден, Звездуха ошибается, но ты справедлив. Помоги этой хорошей женщине, она ни в чем перед тобой не виновата! Уж я отблагодарю, не поскуплюсь. А ты, злобный Эрлэг, попробуй только сунься к моей жене и к моему ребенку!

Забыв о приличии, об авторитете власти, о глазающих людях, сотник рухнул наземь и закрылся на коленках — клал быстрые поклоны на север, на восток, на юг, на запад, чтобы не забыть никого из ревнивых и недобрых монгольских богов.

* * *

К вечеру кулак был весь изгрызен — это Манул всё кусал и кусал костяшки, чтобы не застонать от муки, в ответ на полные страдания крики, что доносились из юрты.

Роды шли тяжело. В очередной раз выйдя за водой, повитуха сказала, что плод никак не хочет выходить, но в первый раз у молодых это часто бывает, бояться нечего. И все равно Манул боялся, очень боялся. Больше всего терзался из-за того, что ничем не может помочь.

Мужу и вообще мужчинам в юрту заходить было нельзя, но Манул не выдержал, приоткрыл полог.

Рожала Звездуха по-степному, стоя на четвереньках.

— Ох, ох, ох, ох, — жалобно повторяла она, двигая белыми бедрами. По ним стекала темная кровь.

Сотник отшатнулся. Он повидал на своем веку много крови, чужой и собственной, но сейчас его замутило.

«Звездуха, — взмолился он той, первой Звездухе, что сейчас паслась на Небесных Лугах, — если что, встретить ее, побереги. И не ревнуй, в моем сердце хватит места для двоих...»

— Аа-а-а! Больно! — донеслось из юрты, и Манул сорвался с места. Он придумал, чем может помочь.

На бегу вырвал из ножен свою чудо-саблю, вбежал в загон, где держали дойных коров. Схватил за рог самую молочную и одним ударом отсек ей голову.

Обезглавленная корова стояла и качалась, из шеи толстой струей била кровь.

— Это тебе, Тенгри, тебе! — кричал сотник, подняв лицо к темному небу.

Туша повалилась, и он схватил следующую телку.

— А это, Эрлэг, тебе! Пей кровь, не жалко, только отпусти Звездуху.

— Гуай, тебя зовут! — дернули Манула за рукав.

Русская девка, рабыня повивальной бабки, с ужасом смотрела на его забрызганное кровью платье.

Побоявшись спросить, зачем зовут, весь обмякнув, Манул безвольно пошел.

В юрте было тихо.

Звездуха сидела на войлоке, голая по пояс. Ее голова, наполовину обритая, как положено замужней женщине, была наклонена. К белой груди она прижимала маленькое красное тельце.

Ребенок показался Манулу похожим на алый мак, какие растут в мае над быстрым Орхоном.

Жена встрепенулась — увидела, что он здесь.

— Прости меня, — сказала. — Это дочка. Ты хотел сына.

— Дочка еще лучше. — Он опустился на колени и убедился: да, будто только что распутившийся маковый бутон.

— Ее имя будет Цветок.

— Цэцэг? — повторила Звездуха. Она пока знала не так много монгольских слов.

— Цветок, — перевел он на тюркский. — Это наш с тобой цветок. Я посадил семя, ты дала ему жизнь. А растить будем вместе.

На лбу у малютки было коричневое пятнышко — как у матери. От досады Манул хлопнул себя по щеке. Как можно было забыть?

— Я привез тебе подарок.

Он сунул руку за пазуху и достал жемчужную сетку, которой Звездуха прикрывала лоб, когда он увидел ее в первый раз.

— Откуда?! — ахнула она. — Господи...

Слезы так и хлынули.

Жемчужную сетку Манул выменял у больного сотника — обратно на коня, полученного год назад. Элбэнху скоро помирать, а положить с собой в могилу хорошего коня всякому приятно.

Бедняга так обрадовался, что дал в придачу кобылу — паршивую, но и на том спасибо.

— Возьми ребенка, не бойся, — велела Звезда.

Очень осторожно, вытянутыми руками, Манул поднял дочку. Та сердито хмурилась, но не плакала.

Манул вспотел от напряжения, боясь, что сожмет чересчур сильно, но еще больше — что ослабит хватку и ребенок выпадет.

— Наверно скоро придет приказ выступать в поход. Вот выпадет снег, замерзнут реки с болотами, и мы пойдем к Западному океану, — сказал он по-монгольски, чтоб девочка услышала голос отца. — Не знаю, сколько у нас с тобой дней. Но каждый день, пока не приедет гонец, я буду любоваться тобой, как цветком. Я подарю Тенгри еще три коровы, чтобы снег выпал нескоро.

Кажется, он все-таки сжал пальцы сильнее нужного — дочка разинула ротик и запищала.



A decorative flourish consisting of several overlapping, flowing lines that form a cloud-like shape around the text.

ПЕРВЫЙ СНЕГ



Первого снега ждали очень долго, и все же он застал врасплох, навалился, как ночной тать, зарезал без ножа.

С вечера сторожили у дороги, не проедет ли хороший обоз. Обозов-то шло много, татарам отовсюду везли дань, но хороших не было уже три ночи. Хороший обоз — тот, что без охраны. Если же повозки сопровождал хотя бы один всадник в малахае, на уродливой мохнатой лошаденке, трогать нельзя. Все знают: за своего убитого татары отомстят, из-под земли достанут.

И вот на четвертую ночь наконец повезло — так показалось вначале. Ехали три доверху груженых воза, рядом ни одного конного.

Ватага вышла на дорогу с двух сторон. Олег спросил: откуда едете, куда и что везете?

Перепуганные возницы ответили: из села Кучкова, в Суздаль, доставляем татарскую десятину.

Тут Кузьма Коломна вмазал старшему в ухо — слетела шапка.

— С князем говоришь. Кланяйся, паскуда.

Выкинули наземь ненужное: мешки с зерном, кусковое железо, холсты. Сложили в самый крепкий воз годное: муку, связанных за лапки живых кур, сушеную рыбу. Обыскав мужиков, нашли у старшого за пазухой три гривны. Это была большая удача. Знать, богатое село Кучково, коли может серебром платить.

Старшой заплакал:

— Татары спросят — что скажем? Порубят всех.

— А вы сами их порубите, — бросил Олег. И махнул ватаге: — Уходим!

Свернули в лесок радостные, возбужденные. И тут, будто нарочно подгадав, с черного неба посыпался снег — частыми густыми клоками. Четверти часа не прошло, и земля накрылась белым войлоком.

За леском начиналось поле. Оно почти сливалось с небом: внизу бело, наверху бело. И вдруг — это было подлей всего — небо опять

почернело, и белой осталась только земля. Бурный, но краткий снегопад закончился.

Олег оглянулся назад — обмер. По белому пространству, будто стилусом по березовой бересте, тянулась полоса — след от колес, копыт, шагов.

— Беда, ребята! — крикнул Олег. — Живей, живей! Может, снова повалит. Иначе — худо.

Шли быстро, не останавливались. А вскоре после мглистого рассвета Минька Свист, самый глазастый, обернулся и плачущим голосом крикнул:

— Мать-заступница...

Далеко позади двигались две конные фигуры. Всадники свесились с седел почти до земли — вглядывались в колею. Потому и не заметили пока, что не отрывались от следа.

Кузьма Коломна посмотрел на Олега выпученными от ужаса глазами:

— Что делать, князь? Пропали!

Весной, в апреле, накопив в лесной обители силу и злость, выплавав все слезы, Олег (уже никакой не Солоний) пошел на запад — туда, где татарская коса нашла на камень и где стойко

бился с погаными какой-то Козельск, о котором княжич никогда не слышал. Верно, городок не больше Свиристеля.

Шел вдоль дороги, по которой раньше купцы ездили в Смоленск, а теперь не ездил никто, кроме стремительных татарских гонцов. Двигался с умом, не как в декабре, когда глупый был. Знал теперь, что свои бывают хуже татар, и глядел зорко. На дороге-то русских людей не было, а пообочь, в зарослях, — немало. Многие сейчас струнулись с места, но тоже таились. Если Олег видел встречного, чтобы один и без оружия, тогда подходил и расспрашивал, откуда идет и что там. Про Козельск подтвердили несколько человек. Город, которым владел какой-то отрок князь Василий, бился один против всей Орды. Оттого что тамошний князь отрок, Олегу сделалось завидно. Представил, как он оборонял бы родной город от поганых и о нем, свиристельском князе, пошла бы молва по всей Руси. Ничего, еще не поздно. Поспеть бы только.

Но однажды перед закатом Олег-Солоний оплошал. Увидел из-за куста парня, сидящего на пеньке. Парень видом был негрозный. Подошел к нему, спросил: кто, откуда, слышал ли про козельское сидение.

Щуплый, остроглазый недомерок молча оглядел Олега да вдруг как свистнет в два пальца — оглушительно, аж уши заложило. И выбежали откуда-то еще двое. Один здоровенный, с черной бородищей, другой — длинный и худой, кривоносый. Что это, говорят, у тебя в мешке, а ну покажь. И шубейку сымай.

Сила и злость за время дороги из Олега не вышли, а только накопились. Снял он с себя мешок, в котором ничего, кроме остатка вяленой рыбы, не было; сбросил заячий полушубок, подарок старца Агапия.

Встал в боевую позицию, как учил Матьяш: левая нога чуть вперед, едва касается земли, вся опора — на правую.

— Подходите, сами возьмите, — сказал Олег с улыбкой и вытянул из лубяных ножен меч.

Страшно не было нисколько, даже весело. Совсем ничего в Олеге от Солония не осталось. Видно, тот весь со слезами вытек.

Разбойники не испугались, тоже оскалились. Выдернули оружие — у одного половецкая сабля, у другого секира, но по повадке ясно: не воины, а мужичье.

Сначала Олег применил «змею» — двойным ударом, с вывертом, выбил у худого из руки саб-

лю, заодно вывихнув дураку запястье. С чернобородым торопиться не стал, напотешился. От неуклюжих взмахов легко уворачивался, сам не нападал — то слегка кольнет, то плашмя по лбу стукнет. Первый-то, который свистел, в драку не совался — только рот разевал.

Наконец чернобородый детина бросил оружие, повалился на колени: «Не убивай! Не с жиру разбойничаем. Жрать нечего. Куда податься, не знаем. Всюду татарове».

— Я знаю, куда вам податься. Я князь, — сказал им Олег. — Пойдете со мной?

Обрадовались. Большинство людей — они такие: лепятся к тому, кто знает, куда идти и что делать. Еще батюшка про это говаривал, но Олег-Солоний зелен был, мимо ушей пропускал. Теперь вот пригодилось. Какие бы сомнения тебя ни одолевали, ватаге этого не показывай. Ты тверд и уверен — они за тебя горой. Чуть дрогнул — засомневаются. А то и накинутся, растерзают.

В тот предзакатный час ватага и сложилась. Поначалу было в ней три человека: чернобородый кузнец из Коломны — Кузьма, крестьянский сын Минька с Ростовщины да кривоносый бондарь Кривонос — по имени его никто не звал, а

был он, как все бондари, отовсюду и ниоткуда, шлялся с места на место, где работа есть.

Потом еще несколько человек пристали, но больше десятка людей Олег не держал — оравой прокормиться непросто, а тайно передвигаться и того трудней.

В Козельск они не успели. Взяли татары упрямый город и всех в нем до последнего человека вырезали. Отрока князя Василия, говорят, утопили в бочке с кровью. Сунули головой вниз: на, мол, волчонок, напейся досыта.

И на том война закончилась. Орда ушла во-свояси, но не вся. В малые деревни зайти еще было можно, а по селам и городам всюду остались татарские надсмотрщики. Вроде и немного, а держали Русь в цепенящем ужасе.

Никто поганых не трогал, даже если татарин один и повернулся спиной. Потому что татарин — он стрелой птицу на лету бьет, саблей наискось тулово перерубает, а если кто против их закона пошел — убивают весь род, до младенцев.

Не нападала на татар и Олегова ватага. Сколько он ни уговаривал, не хотели и слушать. Боялись. Безохранные обозы грабили — но и только.

Полгода с лишком так просуществовали. Кто-то новый приставал, кто-то, наоборот, уходил. К зиме, когда кормиться стало тяжело, Олег оставил при себе только троих первых, да еще прибавился Пикша-плотник, полезный человек. Остальным сказал: идите с Богом, выживайте сами.

Промышляли впятером неплохо. Люди были довольны: сыты, ни в чем не ведают нужды. Олег радовался, что хоть малой мерой, да вредит поганым.

Но выпал первый снег — и погубил.

* * *

— Воз бросить, — приказал Олег.

Хлестнули лошадей, чтобы припустили и уволокли тяжело груженную телегу дальше в поле. Сами, пригнувшись, побежали в сторону. Авось татары пеших не заметят, погонятся за повозкой.

Сначала так и вышло. Всадники увидели впереди темное движущееся пятно, помчали вскачь.

Но света становилось всё больше, а до лесной опушки бежать было далеко.

— Сюда повернул! — задыхаясь, крикнул Минька. — Не уйти вместе. Давай врассыпную. А там — как Бог.

Татары разделились. Один по-прежнему гнал-ся за возом, другой повернул за пешими. Расстояние быстро сокращалось.

— Стойте! — Олег схватил Кузьму за плечо. — Нас пятеро. Справимся.

Но ватага его больше не слушала.

Коломна вырвался:

— Ополоумел, князь? Со всей округи набегут. Кожу живьем сдерут! А, ну тебя!

И побежал влево. Кривонос и Пикша помялись было, но тоже кинулись наутек, всяк своим путем. Минька Свист — тот уже успел далеко уйти, он был сметливей остальных и легок на ногу.

«По снегу не набегаешься», — сказал себе Олег, подавив желание бежать куда глаза глядят, только бы подальше от маленького, неотвратимо надвигающегося всадника.

Тот на скаку выдернул из-за седла лук, из-за спины стрелу. Не замедлив рыси, выстрелил в того, кто отбежал дальше всех. Минька всплеснул руками, кувыркнулся в снег и не встал.

«Не торопиться, другой раз зарядить не успею», — опять вслух обратился сам к себе Олег.



Он натягивал крюком тетиву самострела. Добыл себе привычное оружие еще летом, но пока стрелял из него только по тетеревам и уткам.

Вложил короткую толстую стрелу — пыр. Опустился на колено — как в прежние времена, когда учился бить в центр мишени.

Татарин пустил вторую стрелу в длинноногого Кривоноса и, судя по крику, опять попал, но Олег не повернул головы. Он вел крестовиной, ловил ею точку немного впереди конника, как целил бы в летящую птицу.

Зазвенела тетива. Всадник вылетел из седла, остался лежать черной кучкой на белом. Олег в первый миг даже не поверил: и это всё? Был грозный смертєразящий центавр — и нету?

Второй татарин увидел и бросил повозку. Помчался к упавшему товарищу.

Теперь Олег уже себя не уговаривал, а был спокоен. Близо подпускать поганого не стал, очень уж они быстры со своими короткими луками. Зато самострел бьет дальше, а меткости в нем не меньше.

Потратил два пыра. Сначала свалил коня. Потом, когда татарин, шатаясь, встал, уложил и его.

Поднялся с колена. Протер глаза — не навajдение ли? То, о чем мечталось целый год, что казалось несбыточным, произошло. И как просто! Никакие они не бесы и не злые духи. Убиваешь — умирают.

С груди будто сняли тугую удавку, не дававшую свободно дышать много месяцев. В носу защекотало, и Олег подумал, что расплается, но не заплакал. Видно, слезы действительно все закончились.

Сзади заскрипел снег. Это возвращались Кузьма Коломна с Пикшей.

Олег пошел им навстречу. Кузьме с размаху двинул прикладом самострела в морду — чтоб знал, смерд, как с князем разговаривать. Кузнец только крикнул, сплюнув красное.

— Кривоноса и Миньку зароешь, — велел ему Олег. — Ты, Пикша, беги, воз догони. Я поймаю лошадь и соберу оружие. Всё, ребята. По-вороньи жить, падалью питаться боле не станем. Будем татар убивать.





МОНГОЛЫН НЭ ГЛАЧУТ



Мануйла (так Филомена называла про себя мужа) часто говорил, что всякий бог любит щедрые дары — не от корысти, ибо какая у бога корысть, коли он бог, а потому что уважает щедрость. Когда родилась Цвёточка, муж подарил богу Тенгри вещь, которой дорожил больше всего: старую шубу, последнюю память о родине. Богам ведь дорого не то, что дорого стоит, а то, что дорого тебе — это тоже известно. Когда шуба горела на костре, Мануйла молился. Потом рассказал — о чем. Чтобы новая война не начиналась еще хотя бы месяц.

А Фила помолилась Деве Марии, чтобы войны вообще больше никогда не было.

Вышло посередине: гонец из ставки князь-Гэрэла велел мужу поднимать сотню не через ме-

сяц, а через год. Совсем без войны, видно, уж никак нельзя, но целый Божий год — зиму, весну, лето и осень — Мануйла провел дома и каждый день когда час, когда и два проводил с Цветочкой. Мужчине с младенцем, да еще девочкой, возиться не положено, поэтому брать малютку на руки он мог только дома, в юрте. Смотреть, как он щекочет ее своим мозолистым от тетивы пальцем или обтирает мокрой овчинной рукавицей, укутывает в беличье одеяльце, было сладостно. Филомена про себя думала, что Дева Мария сильнее бога Тенгри и так теперь будет всегда. Но год прошел, выпал новый снег, дороги встали, и прискакал всадник с красной табличкой на груди.

У Филомены сжалось сердце — сразу догадалась. Прикусила губу, чтобы не брызнули слезы. Монголки не плачут, это стыдно.

У них с Мануйлой всё давно было обговорено — он ждал приказа со дня на день, поэтому она только спросила:

— Когда?

— Сейчас, — хмуро ответил муж, глядя в сторону и покашливая. Уж тем более не полагалось плакать мужчинам. Главное — Цветочка только сегодня сделала по мягкому ширдэгу, войлочно-

му ковру, несколько первых шагов, держась за руку отца. Как они все трое радовались...

— Пойду прикажу бить сбор. Как без меня управляться — ты знаешь. Вот... — Он взял походные мешки, которые только перекинуть через седло. Там всё что положено: вторая шуба, сухой творог, кожаный бурдюк, игла с жильными нитями и прочее. И у всех нукеров так. Если надо, сотня будет в седлах через четверть часа.

— Можно я провожу тебя? — спросила Филомена, и голос дрогнул.

— Монголки мужей не провожают, ты знаешь. Просто выйдешь, помашешь рукой.

— Я русская, мне можно.

Она никогда с ним не спорила, поэтому он очень удивился. Проворчал:

— Так не делают... — Вытер рукавом нос, решительно махнул рукой. — А, пускай говорят что хотят. Только возьми с собой Цэцэг. Уж нарушать, так нарушать.

Все-таки не только она с ним омонголилась. Он с ней тоже стал немножко русским.

— Спешки большой нет. Поэтому выходите через час — когда солнце будет вон там, — показал Мануйла на небо и вышел.

Час — это много. Чтобы не заплакать, Филадельфия занялась обычными домашними заботами.

Повзбивала кумыс, пошла с двумя кожаными ведрами к ручью, но на обратном пути спохватилась — что ж она, дура? А свежего мяса ему в дорогу, когда еще поест? Бросила ведра, подхватила полы номрога, побежала в юрту. Вынула из шулюна, бараньей похлебки, лучшие куски, завернула каждый в промасленную кожу. Сунула в мешок к походной снеди. Туда же, на самое дно, спрятала образок Божьей Матери. Чтобы лучше слышала Филоменины молитвы.

Солнце еще не поднялось до назначенного места. В курене ржали кони, перекрикивались веселые нукеры, которым надоело сидеть без дела — они-то ждали похода с нетерпением.

Филомена успела еще подоить кобылицу, чтобы дать мужу напоследок теплого молока. Сжимая и оттягивая книзу упругие сосцы, вдруг подумала, что монгольской работе она за два года научилась хорошо, а как ведут хозяйство русские бабы, и знать не знает. В прежней жизни ничего полезного делать она не умела, княжне ни к чему. Вышивание золотой нитью не в счет — это занятие от скуки. Сядут, бывало, вдвоем с матушкой у окна, та давай на франкском языке книги про рыцарей и королеву пересказывать, красивые былины, именуемые балладами, напевать, и обе вышивают одно и то же: птицу свири-

стель с венцом и розой. Это матушка сама изобрела родовой герб, она была великая придумщица. Мечтала, чтобы у всех слуг и дружинников на парадных рубахах золотой знак сиял — гостям в удивление. Нить была греческая, дорогущая, комнатным девкам матушка ее не доверяла, испортят, поэтому работали вдвоем, хотя разве то была работа? Одно приятствие. И ничегошеньки тогдашняя Филадельфия своими белыми руками исполнить не могла — только вышить золотом затейную птичку.

Зато теперь руки стали крепкими, пальцы ловкими. Белизна, правда, исчезла, но не жалко. Монголы белую кожу почитают некрасивой. Филадельфия, чтобы муж больше любил, нарочно лицо травяным соком смуглила.

Работая, она вперемешку бормотала русские молитвы и монгольские заклинания. Пускай все боги помогают — какие есть и каких нет. Чтобы Мануйла вернулся живой. И чтоб не мучился в походе подагрой. Кто ему там обмотает ногу капустным листом? И где ее, капусту, зимой возьмешь. Ах, забыла!

Побежала уложить в мешок склянку с капустным соком, который помогает не хуже листа — добрый дед Калга научил, когда приезжал погостить прошлой осенью. Привез дорогой по-

дарок, матушкину любимую книжку про Тристана и Изольду. Как уцелела в свиристельском пожаре — чудо.

И пришла в голову очень хорошая мысль. У Мануйлы не было вещи дороже старой шубейки, памяти о родине, а ради важного моления не пожалел, сжег. У Филомены же от прежней жизни осталась только старая книжка, память о матушке. Вот что надобно богу Тенгри поднести, он засчитает, а Христос не обидится — на что Ему суетная сказка про грешную любовь?

А вот теперь пора было выходить. Голоса и ржание ныне доносились не с разных сторон, а из одного места. Значит, дружина собрана и сейчас выступит. У монголов это быстро.

Фила поправила высокий головной убор, спустила рукава, осторожно вынула из берестяной колыбели спящую Цветочку.

Раздвинула углы рта в радостной улыбке, потому что хорошая жена в час разлуки не должна огорчать мужа печальным лицом.

Вышла.

Сотня достраивалась в длинную колонну: десятками, по два нукера в ряду, и у каждого сбоку заводной конь — у левого слева, у правого справа. Сто людей, двести лошадей — как положено.

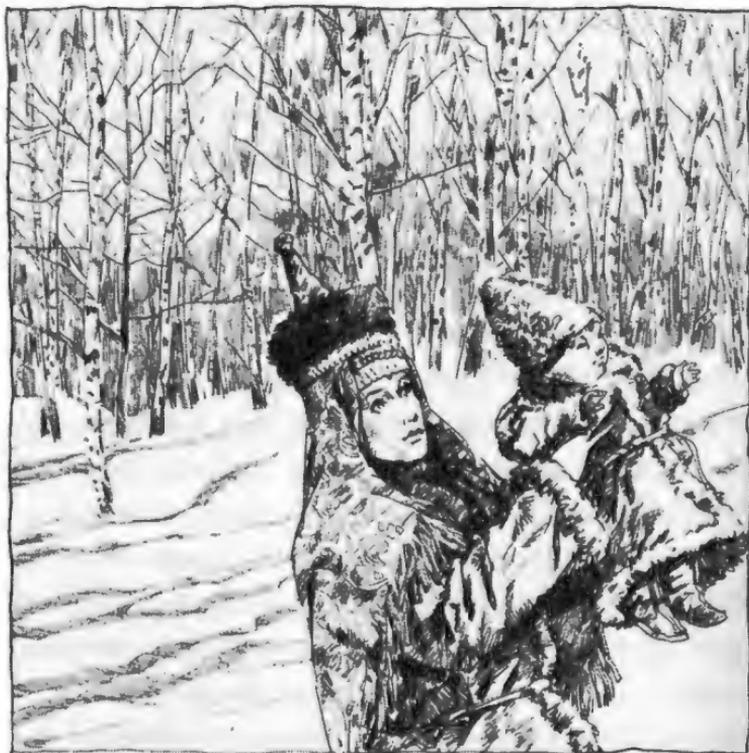
Мануйла пронзительно выкрикнул, и отряд тронулся. Сотник пропустил колонну мимо, зорко оглядывая каждого. Филомена стояла в стороне, ждала. При воинах подойти было нельзя — только осрамишь.

Вот сотня растянулась по заснеженному полю. Тогда поехал и Мануйла — но медленно, тихим шагом.

Когда хвост отряда скрылся за косогором, Филадельфия двинулась вслед. Свои, кто остается, конечно, видели, но пускай себе судачат. Мануйла ведь не виноват, что его жена плохая монголка.

Идя по протоптанному, Филадельфия глядела в сутулую спину мужа и думала, какая странная получилась жизнь. Сколько было с матушкой говорено за золотым вышиванием о будущем, сколько было гадано. Матушка говорила: выдадим тебя не за богатого и сильного, а за доброго и умного. И чтоб красивый был, требовала княжна. Кого полюбишь, тот и красивый, непонятно отвечала матушка. А вышло вот что. Живет со старым, криволицым, иноязыким. И ближе никого нет.

За косогором — Филомена заранее рассчитала — можно было перейти на бег. Из куреня уже не видно, да и сотня как раз огибала березовую рощу. Самое время по-людски попрощаться.



Муж тоже это сообразил и остановился. Обернулся.

Фила подбежала, припала к колену. Он погладил ее по щеке своей шершавой ладонью.

— Родненький, — сказала Фила по-русски.

Мануйла ласковых слов говорить не умел, даже по-монгольски. У монголов ласка — это забота, поэтому он в десятый раз стал учить, как жене без него управляться. Все-де должны ее



слушаться, потому что она — жена сотника, а кто вздумает дерзить, сразу говорить десятнику Тогрулу, он с особо набранным одиннадцатым десятком для того и оставлен.

— Если же я не вернусь, — втолковывал Мануйла, — о тебе позаботится Калга-сэчэн, он мне обещал. Вдове сотника положен почет и полное довольствие от ханской казны. Но я вернусь, — быстро добавил он, потому что щека у Филы за-

дрожала. — Я был в ста походах, переживу и сто первый. На войне убивают неопытных и тех, кому слава дороже жизни. Я опытный, и слава мне не нужна. А когда я вернусь, попрошусь на покой. Послужил, хватит. И мы заживем втроем — ты, я и Цэцэг. Может быть, Тенгри даст нам еще одну дочку. Или даже двух. Дочки лучше сыновей. — Он посмотрел на малютку, и было видно, что очень хочет дотронуться, но не стал, чтобы не будить. — Всё. Возвращайся.

— Я провожу тебя до березняка, — твердо сказала Фи́ла. — И через рощу. А на открытое место не выйду. Нукеры не увидят.

— Хорошо, — легко согласился Мануйла. — Я догоню сотню вскачь. Куда она денется?

Пошли рядом, свободную руку она держала на его бедре.

— Меня отпустят со службы, потому что это самая последняя война, — говорил муж. — Мы уедем далеко, на другой конец державы. По лугам, по полям, по степям. Ехать будем медленно, не утомляя скотину. Куда нам торопиться? Дорога — тоже жизнь, хорошая. Особенно если знаешь, куда держишь путь, и хочешь туда попасть...

Он редко говорил так много. Фи́ла слушала и кивала.

Немного не доезжая роши, он остановился, потому что проснулась Цветочка.

— Аава! — пролепетала она, глядя на отца снизу вверх. Этому слову она научилась совсем недавно.

— Да, я твой аава, — просиял Мануйла. Воробато огляделся по сторонам. — Дай мне ее поддержать.

Она протянула малышку, он наклонился.

Раздался странный свистящий звук, и Мануйла вдруг покачнулся.

Не веря своим глазам, не понимая, Фила увидела, что из середины его туловища, из подвздошья, высунулось что-то острое, блестящее, мокрое. Глаза Мануйлы расширились, он вскрикнул и головой вниз выпал из седла.

Цветочка засмеялась — подумала, аава с ней играет.





БОГ МН.ЮСТИВ



Побродили по лесам, убивая татар, когда кто ехал один или вдвоем. Если больше — не связывались. Трупы прятали, чтобы поганые не мстили ближним деревням.

Ватажники забирали татарскую дань охотно, а татар убивали только из страха перед Олегом. И скоро он понял: пустое всё. Видно, прав Агапий. Кончилась Русь. Ушел из нее прежний славянско-варяжский дух, вытек вместе с пролившейся кровью.

Нужно было где-то устраиваться.

Походили, искали и нашли службу в городе Торжке, который был одно название — самого города не осталось. Прошлой зимой татары шли на Новгород, и там уж все с жизнью прощались. Кто в саваны заворачивался, схиму принимал, бояре

и купцы грузили добро в ладьи — за море плыть, но Господь постановил, что нельзя русскую землю совсем уж до последней травинки искоренять, и попустил раннюю, дружную весну. Вскрылись реки, задышали топи, и увязла Орда в непролазной распутице, поворотила назад, не дойдя до Господина Великого Новгорода всего ста верст.

Последний русский город, доставшийся татарам на этом пути, был Торжок, и в острастку новгородцам поганые не оставили здесь бревнышка на бревнышке.

Но как трава прорастает даже после самой лютой зимы, так же возродилась на бойком торговом месте новая жизнь. Вместо убитого посадника приехал новый, стал созывать попрятавшихся мужиков, брать в дружину уцелевших воинов. Принял посадник и Олега с людьми, сделал над гарнизоном главным, поставил на довольствие и жалованье.

Служба была хоть и бедная, для природного князя мелкая, зато честная. Да и знал Олег, что князем ему больше не быть. Негде княжить, некуда возвращаться.

А только однажды, уже в следующую осень, было вот что. Сидел он в гриднице мрачный,пил хмельной мед, тужил о своей молодой жизни: двадцати лет еще не сравнялось, а уже будто ста-

рик, и ждать нечего. Вдруг входит Кузьма, говорит: «Олег Ингваревич, из твоих краев человек. Послушаешь?»

В самом деле, приобрел христарадничать нищий, каких ныне развелось видимо-невидимо, и никто ведь с голоду не помирал, всем подавали, потому что от больших бед в злых людях становится больше злобы, а в хороших становится больше милосердия, и милосердных всегда достаточно, чтобы сирых пожалеть.

Бродяга летом побывал в пристепном краю, где раньше стоял город Свиригель, и порассказал такое, что с Олега разом слетели и хмель, и туга.

В свиригельской земле теперь правил татарский посадник именем Мануйла, и все его власть признавали, потому что татарин тот справедливый и женат на княжеской дочери.

Олег рассказчика схватил за ворот: не врёт ли?

Нет, не похоже, чтобы врал. Жену посадника Мануйлы он видел своими глазами и описал точно: светлые волосы, родинка посередь лба. Филомена! Жива!

Тогда Олег стал расспрашивать про татарина — и помутился взор.

— Татарин как татарин, — сказал нищий. — Кривоногий, рожа медная, поперек вот так вот рубец.

Худшее, стыднейшее воспоминание Олеговой жизни было, как он, жалкий кутенок, замер, сдавленный жилистой рукой, вдохнул отвратительный запах грязной овчины, прогорклого сала и чего-то тошнотворно-чужого. Его резали, а он даже не брыкался.

Сатана, татарский дьявол, убивший отца и мать, был жив-здоров, поганил Филомену и жирел на его, Олеговой земле, а крестьяне, иуды, черта этого еще и нахваливали!

Всё выпросив, Олег вышел во двор и долго стоял с зажмуренными глазами, подставив лицо дождю. Холодные капли стекали за ворот, а он не чувствовал.

Бог суров, но милостив. Попускает грех, но дает и искупление. Выходило складно, по клятве, которую, оказывается, забывать было нельзя. И со смертным врагом поквитаться, и сестру выволить. Вот она — жизни цель. И какая!

Вечером велел Кузьме собрать дружину. Поговорил. Уйти на восток согласились двадцать два человека — кто потерял от татар родню или просто скучал на городской службе.

Посадник не удерживал, он опасался бешеного Олегова нрава. Лишь пугливо спросил:

— Татар бить будешь? Об одном молю. Не говори нигде, что ты торжковский воевода. Опять сожгут!

— Я не торжковский воевода, я — свиристельский князь, — ответил Олег. — Прощай, торговая душа.

* * *

Свой маленький отряд Олег вел тем же путем, каким полтора года назад возвращались татары. Ждал увидеть разорение и безлюдье, но был удивлен. Деревни и села успели отстроиться, крестьяне вернулись из лесов, на полях повсюду шла работа — заканчивали собирать урожай.

Следовали гордо, не прячась по кустам. Олег развернул стяг, на который не пожалел собственного плаща: красное полотнище, на нем нашитые крест и птица. Крест получился еще туда-сюда, птица — совсем никакая, приходилось объяснять, что это свиристель, и не все про такую птаху слышали.

Мечталось, как под знамя будут вставать люди, измученные татарской неволей. До родных краев путь неблизкий, и Олегу грезилось, как он приведет на берега реки Крайны две или даже три тысячи мстителей за поруганное отечество. Но за первую неделю к дружине не пристал

ни один человек, хотя Олег повсюду собирал местных и объявлял, кто они и за что идут сражаться. Крестьяне прятали глаза, откупались мукой и мясом, благо осень, сытое время, а воевать не шли.

Татар так ни разу и не встретилось. Они сидели по городам, а города Олег по малолюдству отряда обходил стороной.

Самые задорные из дружинников попритихли. Сначала шли — пели песни, гоготали, а теперь приуныли.

На вторую неделю отряд начал таять, и первым сбежал Кузьма, подлая душа.

Полдороги прошли — остался Олег сам-двенадцатый. Дни были стылые, мокрые, по ночам примораживало, так что в открытом поле и с кострами не больно поспишь.

Как-то раз остановились в деревне, уже на Рязанщине. Вдруг полночь стук в окно. Местный паренек:

— Старики приговорили татар на вас навесть, из Пронска. Бегите, пока не нагрянули!

Олег не успел своим и слова сказать — всё его войско кто в чем был кинулись на крыльцо и врассыпную. Никого не осталось.

И дальше Олег шел уже один, угрюмый, но не утративший решимости.

Всё это было сатанинское наваждение. Это он, враг рода людского, обратил народ в червей, по земле пресмыкающихся. Но Олег Свири-стельский колдовству не подвластен.

Хотите жить под татаринном, православные? Ну и черт с вами. Пропадите вы все пропадом. На что спасать Русь, коли ей спасения не нужно? О своей душе надо заботиться, перед самим собой долг исполнять. А долг и душа требовали держаться клятвы — двух клятв: отомстить за отца-мать и спасти сестру. Если судьба погибнуть на этом пути, не жалко. Бог верного клятве витязя без Небесного царства не оставит. А получится исполнить обет — прочь из этих рабских мест. В Новгород, где еще жива Русь. Ну а коли поганые и туда доберутся, тогда уплыть за море. Забыть мертвую страну, которая не сумела себя защитить и не пожелала воскреснуть.

Оставшись в одиночестве, Олег ехал уже не дорогой, а опасно, повдоль. Ближе к степи начали встречаться татары. На рожон княжич не лез. Если несколько — прятался. Но если поганный был один, бил насмерть из самострела. Труп нарочно подвозил поближе к деревне и бросал там. Мстите, татары. Режьте овец. Может, пере-

станут бляеть, озляться и возьмутся за топоры. А нет — не жалко, туда им и дорога.

Было у Олега еще одно дело, невеликое, но отрадное. Он вез из Торжка в седельной суме стопу пергаментов, купил у новгородского купца-гостя на скопившееся жалованье. Пускай Русь погибла, но есть человек, кто записал историю ее кончины в назидание будущим коленам. Как ему не помочь? А еще хотелось дать душе хоть малое отдохновение перед великим и страшным свершением, которое скорей всего закончится могилой. Думал Олег у святого отшельника напоследок исповедаться и причаститься — больше случая могло и не представиться. Да просто поговорить с кем-то, в ком еще жив дух!

Но не дал Господь последнего утешения. Лесную избушку Олег отыскал без труда, но она стояла пустая, с выбитой дверью и провалившейся крышей. Внутри лежал изгнивший труп с седой бородой.

Убийство свершилось давно. Наверное, вскоре после того, как Олег отсюда ушел. Из пола, прямо сквозь голые ребра, проросла жесткая трава. Не пожалели тихого старика какие-то душегубы, и навряд ли татары — те ночуют под открытым небом, а эти развели прямо в избе ко-

стер, грелись рядом с убитым. От непотушенного костра и крыша прогорела.

В кострище черными лохмотьями лежала сожженная береста. Разбойникам было лень наружу за хворостом выйти, спалили что было под рукой.

Олег поднял уцелевший кусок, прочел: «...но не должно отчаиваться, ибо зло тленно, а добро вечно, и потому в своевремении первое истлеет, а второе пребудет живо...»

Вот еще одно бремя на совести, тяжкое. Не ушел бы тогда, весной, — глядишь, защитил бы агнца, не дал в обиду.

Всё, теперь Руси совсем конец. Сгинула, и памяти не сохранится.

В груди так заломило, что подумалось — вернулись слезы. Но плач получился сухой, одно сипение.

Похоронил старца с молитвой, но молился не за упокой безгрешной души, потому что зачем безгрешной душе заступники, а о своем, всё о том же. Чтобы дозволил Господь поквитаться с поганым сатанюю татаринном Мануйлой. И если на том не иссякнет Его Божественная милость — чтоб вышло спасти Филу. В такой последовательности.

Надежды, что выйдет и то, и другое, не было. Если Мануйла начальствует над целой округой,

поди до него доберись. То есть добраться-то доберешься, но живым не уйдешь. Спасать сестру будет некому.

И с того часа Олег молился уже беспрестанно. И в пути, и на стоянке, и даже во сне. Руси больше не было, но Господь-то есть.

Пошли знакомые края. Потом начались и вообще родные — где когда-то охотился с соколом или просто скакал по зеленым полям.

Но как будет действовать, Олег не знал. Лишь уповал на Божью помощь.

Затаился в березовой роще, где знал с детства каждое дерево. Отсюда до сгоревшего Свиристе-ля всего верста, только через невысокий косогор перейти. Это было последнее укромное место. По зимнему голому времени даже в балке не укроешься.

Собирался до вечера просидеть здесь, молясь о чуде, а как стемнеет, сходить в пешую разведку.

И явил Бог своему молельщику чудное чудо. Был Он, Господь, суров, но справедлив, как в ветхозаветные времена. Карал строго, но и давал карать.

Сначала испытал Олег смертный страх. Вдруг, скоро после полудня, из-за холма выехал боль-

шой отряд татар. И прямо по полю, к роще. Хотел он вскочить в седло, но лошадь от долгого пути и недокорма ослабела, не уйдешь.

Что ж, значит, не судьба исполнить обет. Оставалось лишь продать жизнь задорого.

Он наладил самострел, приложился. Одно-го, думал, уложу точно. Пока будут метаться, пока сообразят, можно достать и второго. А там мечом.

Уж и выбрал, кого ссадить: здоровенного, с нетатарской, а совершенно русской мордой. За нее и приговорил. Бродяга, которого расспрашивал в Торжке, рассказал, что у Мануйлы многие русские служат, забыли веру и отчизну. Эти хуже поганых, предатели.

Но мало не доехав до рощи, отряд повернул в объезд. Вытирая холодный пот, Олег пересчитал: сто всадников и сто заводных лошадей. Он, глупец, вообразил, что это и есть чудо, но это было еще не чудо, а только предзнаменование. Истинное чудо было впереди.

Олег всё оглядывался, прислушивался, не повернут ли татары назад, и потому поздно заметил, что по широкому протоптанному следу к роще приближаются еще двое: конный и рядом с ним баба в высокой шапке с пером. Подошли ближе — стало видно, что у бабы на руках ребе-

нок. А когда они остановились всего в тридцати шагах, Олегу в сердце вошел священный трепет.

Жив Господь!

Само, безо всякого с Олегавой стороны тщания, явилось исполнение обеих невозможных молитв.

Целя в сутулую спину Сатаны, княжич боялся выдохнуть. Не исчезло бы блаженное видение! Руки дрожали, но с такого расстояния по неподвижной мишени промахнуться было трудно.

И вот он встал над хрипящим врагом, торжественный и безмолвный. На Филу даже не взглянул, чтобы не отвлекаться от главного. Она застыла неподвижно, судорожно дышала. Ребенок гугукал, смеялся, и младенческое веселье казалось Олегу благословением ангелов.

Он перевернул татарина ногой на спину. Тот был еще жив, но двигаться не мог. Толстый пыр перебил Сатане хребет. Только хлопали щелки-глаза да беззвучно шевелились губы, будто раненый пытался что-то сказать.

Когда Олег с шелестом вытянул из ножен меч, Филя вдруг вышла из неподвижности.

Крикнула:

— Уйди, тать! Не надо!

Попыталась схватить за руку. Бедняжка была не в себе. Родного брата не узнала, обозвала татем.

Он мягко оттолкнул ее и коротким, мощным ударом вонзил Сатане клинок в самое сердце. С хрустом выдернул.

В глазах татарина погасли огоньки, веки закрылись.

Всё. Спасибо Тебе, Господи.

Фила отчаянно закричала.

Тогда Олег повернулся к ней, снял шлем.

— Я это, милая. За тобой пришел. Как обещано.

А она не удивилась, даже не взглянула на брата. Пала на колени, склонилась над убитым.

— Ты что, не слышишь? — тронул ее Олег.

Не поднимая головы, она сказала:

— Что ты наделал, Солоша? Что ты наде-
лал...

— За отца, за мать поквитался, за Свиристель.
За твои муки.

Дитя глядело на Олега поверх Филиного плеча. Уже не смеялось, а кривило ротик. Воло-сенки черные, глазки узкие, но посередине лба большая родинка, точь-в-точь как у батюшки и сестры.

— Татарчонка прижила, — вздохнул Олег. —
Эх ты, бедная...

— Это дочка моя! Наша с Мануйлой! — выкрикнула Филя рыдающе, и девочка испугалась, сморщила личико, заплакала. — Ты мужа моего убил, окаянный!

Ярости в Олеговом сердце накопилось так много, что с одним ударом меча вся она не вышла, еще много оставалось.

— А про отца-мать ты забыла? Уже не помнишь?

— Это ты ничего не помнишь! Я на них твою жизнь выменяла! Мануйла тебя пощадил, а я за то Богу поклялась при нем быть!

— А меня ты спросила, Филя... согласен я память выменять... хоть бы и на собственную жизнь?

Слова давались ему трудно, в груди будто разрастался горячий ком, мешал говорить.

Сестра оглянулась на него, ее глаза горели ненавистью.

— Я не Филя! Меня зовут Одоншир! Это значит... — Но голос сорвался, не договорила. Видно, и у нее слова застревали в горле.

Закончила она сипло:

— Будь ты проклят, убийца!

Татарка! Чужая, враждебная. И вся Русь, обрюхаченная Ордой, скоро станет такой же. Уже стала!

Не помня себя, мечом, красным от сатанинской крови, Олег нанес удар наотмашь. И потом еще плюнул на упавшее тело.

— Тьфу на тебя, тварь татарская! Христопродавица!

Вытер клинок о снег, спрятал в ножны. Перед взором расплывались багровые круги, в ушах будто бил барабан.

Что я наделал, Господи... Господи!

Он поднял лицо к хмурому небу, и оттуда сошел милосердный холод. Остудил пылающий лоб, приглушил мучительный стук крови, и Олег услышал детский плач.

Девочка пищала, придавленная телом матери.

Вот и ответ от Господа.

Осторожно сдвинув мертвую, Олег взял племянницу на руки, прижал к груди.

Ты-то ни в чем не виновата. Филу спасти было уже нельзя, она душу Сатане продала, а тебя я спасу. Не позволю стать татаркой. Увезу, окрещу.

Он содрал с покойницы шерстяной наплечный плат, укутал девочку. Покачал — перестала плакать, уснула.

И потом, когда Олег ехал верхом, только почмокивала, убаюкиваемая неспешным ходом коня.

Помрет, печально думал Олег. Где малому дитяте вынести зимнюю дорогу.

И в сердце сложилась новая молитва.

Боже суровый, справедливый, яви мне, многогрешному, еще одну милость. Дай младенцу безвинному дожить до первой церкви, не забирай некрещенную душу. Окрестит поп — тогда и приberi. А впредь никогда ни о чем не попрошу, вот Тебе крест.

Молился и сам не чувствовал, что всё лицо мокрое. Слезный дар вернулся. А больше ничего не осталось: только слезы и обреченный младенец.



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая ВОЙНА

О гибели богатырей русских	7
Манул из рода Манулов	21
Великая Яса	39
Деревянный город	57
На саблю	83
Вернулась?	109

Часть вторая МИР

В Преисподней	127
Как седлают молодых кобылиц	149
Тихолепие	175
Рождение Цветка	193
Первый снег	209
Монголки не плачут	223
Бог милостив	237

Литературно-художественное издание

История Российского государства

Борис Акунин

ЗВЕЗДУХА

Повесть



Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»

Зав. группой *М.С. Сергеева*

Ответственный редактор *Т.Н. Захарова*

Подписано в печать 02.11.2018 г. Формат 84×108 1/32.
Усл. печ. л. 13,44. Доп. тираж 3 000 экз. Заказ № 3631.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2018 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация, г. Москва,

Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж.

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: zhanry@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: zhanry@ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан:

ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор

және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92

Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@ekamo.kz

Өнімнің харамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



◆

*«По-божьи, может, и не так.
А по-человечьи так. Люди делаются
на своих и чужих. Свои – те, кто с тобой
и за тебя. Они-то и есть настоящие люди.
Чужие — или враги, или никто. Они не имеют
никакой важности. Своя собака дороже чужого хана.
Со своими, как с чужими, обходиться нельзя.
И наоборот: поступать с чужими, как со своими,
тоже неправильно...»*

—

В начале XIII столетия Русь столкнулась не только с непобедимым врагом, но и с другим взглядом на мир. Борис Акунин в жесткой, драматической повести «Звездуха» рассказал о тяжелейшем времени противостояния монголо-татарской орде... и о невозможной самоотверженной любви.

◆

ISBN 978-5-17-104288-2



9 785171 042882



www.ast.ru